



АЛЕКСАНДР
ПРОХАНОВ

СТЕКЛОДУВ

Война
страшна
покаянием



Александр Проханов

**Война страшна
покаянием. Стеклодув**

«ЭКСМО»

2010

Проханов А. А.

Война страшна покаянием. Стеклодур / А. А. Проханов —
«Эксмо», 2010

Офицер военной разведки Петр Суздальцев получает крайне ответственное и сложное задание. Из Пакистана в Афган движется караван с ракетами «стингер». Если ракеты попадут в руки моджахедов, то наши воздушные силы могут понести большие потери. Но ситуация намного осложнится, если «стингеры» перехватят иранские террористы – тогда начнут падать гражданские самолеты над мирными европейскими городами. Ценой невероятных усилий и трагических ошибок разведчику удастся выйти на след «стингеров» и ликвидировать склад. Но эта победа не приносит ему удовлетворения. Через пытки афганского плена, через лишения и физические страдания офицер вдруг приходит к глубокому раскаянию за все те смертные грехи, которые с умыслом или невольно совершает всякий вооруженный человек, даже если он воюет за высокие гуманистические идеи...

© Проханов А. А., 2010

© Эксмо, 2010

Содержание

ГЛАВА ПЕРВАЯ	5
ГЛАВА ВТОРАЯ	12
ГЛАВА ТРЕТЬЯ	21
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ	33
Конец ознакомительного фрагмента.	36

Александр Проханов

Стеклодуд

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Он оставил машину с шофером на заснеженной Бронной. Пешком, наслаждаясь блеском и красотой вечерней Москвы, стал спускаться по Тверской вниз, повторяя путь, который столько раз за долгую жизнь совершал среди этих фасадов. Оставаясь каменными, неизменными, со своими арками, лепными украшениями и мемориальными досками, они, словно недвижные берега, наполнялись струящейся в вечных переливах некой рекой, по которой уносились его воспоминания. Все в одну сторону, вниз, от туманного Пушкина с живой, брошенной в снег розой, к янтарно-белому Манежу и розовым башням с высокими в рубиновом зареве звездами. Когда-то мама, держа его детскую руку, хотела перейти просторную полупустую улицу. Навстречу, едва их не сбив, промчался черный, на белых шинах, лакированный «ЗИС». За стеклом лимонно-желтое, недовольное промелькнуло лицо Молотова. Здесь же, школьником, он шагал в весенней первомайской толпе среди флагов, шаров, транспарантов, держа красный флажок, и на площади, среди ликующих возгласов, восхищенных лиц, увидел на мгновение розовый кристалл мавзолея. Далеко, в кителе и фуражке – Сталин. Сказочное видение, пронесенное сквозь целую жизнь. Юношей, стоя на тротуаре, он смотрел, как мимо, в грохоте, в дрожании земли шли на парад танки – бугры и уступы зеленой брони, стоящие в люках танкисты, едкая синяя гарь, и когда стальная волна прокатилась мимо витрин и окон, на асфальте – седая насечка, запах гудрона и стали. С девушками – каждый год разные, с полубытыми лицами, полубытым смехом, запахом и цветом волос – гуляли, забредая в кафе, и он смотрел, как бегут за окном автомобили, и сквозь тонкую трубочку близкие женские губы всасывают сладкую струйку коктейля.

Теперь он шел по Тверской, по свежему, бело-синему снегу, рассеянно любуясь праздной толпой. Нескончаемо лился глянцебитый поток автомобилей, из которых у дверей ресторанов и ночных клубов выходили молодые, красиво одетые люди. То просияет серебристой синевой соболиный воротник, то из распахнутой шубы сочно брызнет шелковый галстук. Как алмазный водопад, низвергались вниз белые лучистые огни. Вверх, навстречу поднимались нескончаемые рубиновые сгустки. Его глаза ликовали, наслаждаясь янтарными витринами, полыхавшими вывесками и рекламами, под которыми снег трепетал фиолетовым, алым, зеленым. Дома, озаренные магическим светом голубоватых и золотистых светильников, казались ледяными дворцами, воздушными замками, в волшебных переливах, таинственных излучениях. Город был дивно красив, сказочно великолепен, и казалось, в нем идет вечный праздник, собраны неземные богатства, и жить в этом городе было упоительным счастьем.

Он проходил мимо тяжеловесного помпезного здания, облицованного грубым гранитом. В складках гранита лежал снег. Черная липа была усыпана драгоценной огненной каплей, словно райское древо. Центральный телеграф казался космическим кораблем, в его глазнице медленно вращалось голубое мистическое око. Клубилась у театра толпа. Сверкали хрустальными и самоцветами дорогие отели. Автомобильный поток соскальзывал к площади, загибался, ускользал за огромный черный уступ Государственной думы, в фасад которой угрюмо и незабываемо, словно на скальное изображение, был врезан герб СССР.

Среди гранита, в темном монолите дома, сияла прозрачная витрина. Ювелирный магазин, спрятанный в каменную толщу, приоткрывал свои чудесные сокровища, манил толпу рассыпями драгоценных камней, золотыми ожерельями и браслетами. В витрине восседала женщина, вся в бриллиантах, то ли статуя, то ли заколдованная царица, очарованная храни-

тельница несметных богатств. Тонкое лицо, обнаженная шея и руки были бархатно-черные, словно она принадлежала к сословию жриц и явилась сюда с берегов Нила или Ганга. Волосы ее были цвета платины, чуть голубые, – признак таинственной расы. Быть может, той, что некогда населяла землю и покинула ее по неизвестным причинам, оставив занесенные песками города, заросшие джунглями храмы, покрытые льдами и морскими водами капища.

Он остановился перед витриной, чувствуя стопами холодный снег, а зрачками волшебную силу недоступной женщины, спящей в хрустальном саркофаге с открытыми глазами. Она казалась ему странно знакомой. Словно он где-то ее встречал, она являлась ему мимолетно. Мелькнула среди других и была забыта, чтобы вдруг возникнуть через много лет на Тверской. Быть может, он видел ее на рауте в Вашингтоне, среди офицеров американской военно-морской разведки, где она подносила к фиолетовым губам игристый бокал с шампанским. Или на рынке в Равалпинди, среди разноцветных огоньков и лампадок, когда быстро темнело, в небе дышало аметистовое вечернее облако, уныло кричал муэдзин, и она грациозно прошла, задев его белой накидкой. Или стояла на берегу Меконга, среди разгромленных статуй буддийского монастыря, и он проплывал мимо на военном катере, залюбовавшись ее смуглым лицом. Или она была женщиной его сновидений, если вся его долгая жизнь была сном, и этот сказочный город, и дерево в драгоценных гирляндах, и глобус в синей глазнице, и видение Сталина – все это длящийся сон, предполагающий скорое пробуждение.

Он смотрел на женщину, испытывая к ней влечение. К ее прекрасному темному лику с открытыми, без зрачков, как у каменных статуй, глазами. К обнаженной высокой шее, на которой переливалось бриллиантовое кольцо, вспыхивающее разноцветно при малейшем движении зрачков. К ее обворожительным гибким рукам с тонкими запястьями, на которых сверкали лучистые камни. Ему хотелось коснуться губами ее хрупких пальцев, хотелось целовать узкую ладонь, теплую жилку, скрытую драгоценным браслетом, чувствуя сияющий холод и блеск камней. Он приближал к витрине лицо, мысленно целуя полуоткрытую грудь, угадывая под шелковым платьем ее длинную шелковистую форму и малиновый сосок. Ему хотелось взять в руки тонкую щиколотку и, целуя колени, скользить ладонями вверх по гладкой темной ноге, чувствуя, как она наливается силой, начинает трепетать. Глаза его были жадно раскрыты, восхищались бриллиантами, которые брызгали цветными лучами. Казалось, женщина пробуждается, начинает чуть слышно дышать, слабо улыбается, и они, разделенные стеклом, приближают друг к другу лица. Это напоминало сон, соитие во сне, сладкое вожделение, которое он никогда не испытывал. Он утолял это вожделение ненасытным созерцанием, дрожанием зрачков, в которых страстно переливались бриллианты.

Вдруг он почувствовал бесшумный толчок. Затмение в левом глазу. Будто перед глазом опустили темную шторку, и бриллианты, которые он созерцал, погасли. Перед другим глазом они продолжали лучиться, сыпать разноцветные искры, переливаться стоцветной росой. Он закрыл этот глаз ладонью, наступила полная тьма. Только слышался шорох машин, женский смех, пролетело душистое облачко табака. Убрал ладонь – темноликая женщина отодвинулась в глубь витрины, сидела отстраненно, как изваяние, равнодушно демонстрировала бриллианты.

Он понимал, что ослеп на один глаз. Слепота наступила мгновенно и безболезненно, будто у него изъяли из глазницы око, наполнив полость мягким непрозрачным составом. Это не испугало, а удивило его. Удар, который он испытал, последовал с высоты, из мглистого московского неба и явился ответом на его вожделение, на его жадное созерцание. Будто кто-то запрещал ему прелюбодеяние, наказывал за соитие с целомудренной жрицей. Он отвел от витрины зрячий глаз, все еще сберегая в нем пленительный женский образ. Испугался, что померкнет и этот глаз, не желавший расставаться с запретным зрелищем. Отошел от витрины, надеясь, что, удалившись от места грехопадения, вновь обретет зрение.

Вдоль переносицы проходила вертикаль, и все, что было левее этой вертикали, оставалось объатым тьмой. Правая же сторона была полна блестящих автомобилей, свежего снега. Переливалось райское дерево. Проходившие мимо мужчина и женщина целовались.

Это было знамением. Было посланием свыше, которое он не мог разгадать. Было словом, безмолвно и властно к нему обращенным, и это слово погасило его око. Внезапность случившегося вызывала в нем ощущение, что кто-то, безмянный, долго и терпеливо наблюдал за ним – не день и не два, а, быть может, целую жизнь, терпел то, как он проживал эту жизнь, и, наконец, не стерпев, послал ему гневный знак.

Так объяснял внезапное свое ослепление Петр Андреевич Суздальцев, стоя на Тверской под черной, увитой гирляндами липой, словно под древом познания Добра и Зла. Всматривался слепо в загоревшиеся кнопки мобильного телефона, звонил шоферу, вызывая машину.

* * *

Явившись в военную клинику к врачу-офтальмологу, он заметил выражение равнодушной любезности на его длинном смуглом лице. Веки у врача были пятнистые, розовые, словно после ожога. В потухших глазах пациентов кипела тьма, брызгала в глаза офтальмолога раскаленными брызгами. Врач, оснастив свой лоб окуляром, зажег портативный фонарик с раскаленным лучом. Луч сверкнул по здоровому глазу, ушел в глубину пораженного ока, рассыпался на мельчайшие искры, окружавшие черную тьму. Луч словно разбился о преграду, превратился в мельчайшую пыль. Офтальмолог убрал луч, снял со лба окуляры, и Суздальцев заметил, что на лице его появилось почти испуганное выражение, и пятна на веках порозовели, словно это был ожог тьмы.

- Вы переносили когда-нибудь сотрясение мозга?
- Контузило в Афганистане.
- Не болели гепатитом?
- Было дело. После работы в Анголе.
- Не страдали серьезными инфекционными заболеваниями?
- Тропическая малярия, после Никарагуа. Меня лечили по кубинской методике, ударными порциями антибиотиков.
- Испытывали в настоящее время сильные стрессы?
- Доктор, мы все испытываем сегодня непрерывный стресс.
- Пересядьте, пожалуйста, в это кресло.

Суздальцев занял место перед оптическим прибором с двумя застекленными трубками. Его голову поместили в стальной капкан – лоб охватывал обруч, подбородок упирался в плотную лунку. Врач снова водил лучом, направлял его под разными углами в глубину померкшего глаза, будто исследовал глухую пещеру, стараясь разглядеть наскальные рисунки. Луч превращался в легкую пылцу, окружавшую темноту. Второй, зрячий, глаз содрогался от вторжения раскаленной иглы, будто она выжигала больной иероглиф, и в этом иероглифе чудилась бриллиантовая женщина, россыпи камней на смуглой груди.

– Положение очень серьезное, – произнес офтальмолог голосом, в котором слышались сострадающие, печальные нотки. – Вы перенесли инфаркт глаза. Кровоизлияние, разрыв артерии, паралич глазного нерва. У вас в глазу, если так можно выразиться, кровавый кисель. Под угрозой – второй глаз. Вам необходима немедленная госпитализация.

Пока врач писал направление в госпиталь, Суздальцев, не пугаясь, ощущая неизбежность и предопределенность случившегося, старался представить свое око в виде флакона, наполненного малиновой жидкостью. Бесшумная пуля попала в глазницу, взорвалась бриллиантовой вспышкой, превратила драгоценный сосуд в кровавый сгусток, во вместилище тьмы.

Машина отвезла его в госпиталь, и он покорно и терпеливо отдал себя в руки врачей. Без тени испуга, без надежды на исцеление, готовился к полной слепоте. Воспринимал ее не как внезапное несчастье, а как таинственное послание Того, Кто до этого распахивал перед ним бесконечные зрелища мира, открывал фантастические картины бытия, принуждая их созерцать. Повинуясь приказу свыше, он мчался с широко распахнутыми глазами навстречу зрелищам, стараясь их понять и запомнить, покуда их не убрали, как убирают с мольберта картины великих мастеров, опускают на окна темные шторы.

Его поместили в отдельную палату, и его дни делились на две половины – утреннюю, когда он подвергался многочисленным процедурам, и послеобеденную, когда врачи отступали, и он был предоставлен себе самому.

Утром ему делали несколько уколов – в мышцу, безболезненные, словно укус комара, и в глаз, когда тончайшее острое больно впивалось под глазное яблоко, и в жидкий кровоподтек впрыскивалась целебная сыворотка. Его пропускали сквозь сложный конвейер оптических приборов, когда в глаз, раздвигая веки и не давая моргать, вставлялась трубка, и врачи, сменяя друг друга, вонзали лучи, стреляли легчайшими сгустками воздуха, заставляли наблюдать движение зеленоватой корпускулы, воздействовали на пораженные ткани подобием солнечных лучей, побуждая глаз откликнуться на солнечный свет. Ему вбрызгивали в вену красящее вещество, оно проникало в сосуды глаза и, подвергаясь рентгеновскому облучению, обнаруживало картину разрушения. «Сосудистую катастрофу», – как говорили врачи. Он рассматривал цветную, компьютерную фотографию пораженного глаза, и она была похожа на аэрофотосъемку темного озера, в которое впадает множество ветвящихся ручьев и речек. Образ его слепоты, снятой из космоса.

Ему представлялась вареная голова семги с приоткрытым зубастым ртом и серебряными пластинами жабер, и то, как он вычерпывал из рыбьей башки темно-золотой глаз. Вареное рыбье око лежало в ложке с желтоватым белком и тускло-остекленелым зрачком. Еще он вспоминал убитого в пустыне Регистан вертолетчика, которому в голову попала пуля крупнокалиберного пулемета. Одна половина лица была срезана до кости, а из другой свисал на кровавых нитях огромный бело-желтый глаз.

Его подвергали лазерному воздействию. Сестра закапывала в глаз препарат, расширяющий зрачки, и когда она над ним наклонялась, он чувствовал щекой ее мягкую грудь. Врач с короткой седоватой стрижкой и жестким лицом снайпера всаживал в пораженный глаз разящие очереди, пробивая крохотные отверстия, сквозь которые должна была уйти кровавая жидкость. Каждый удар лазера сопровождался шипящим звуком, попадание отмечалось светящейся робкой пылью, напоминавшей далекий, гаснущий фейерверк. Зато второе, зрячее, око пугалось солнечной огненной вспышки, которая наполняла глаз невыносимым светом, расплавленной белой плазмой. Лишенный возможности моргать, с широко раскрытыми веками, глаз ужасался вторжению слепящего света. И это странно напомнило ему солнце Герата, когда он поднимался на вершину каменной башни, где был расположен командный пункт. Предстояла массированная бомбардировка города, и кто-то немой и грозный направлял из небес бесшумные слепящие вспышки, то ли запрещая ему смотреть, то ли, напротив, безмолвно принуждая: «Смотри!»

Оказавшись в палате, он принимал телефонные звонки от бывшей жены, пожелавшей его навестить. От детей, которые волновались за него и просили позволения прийти. От немногочисленных друзей, прослышавших о его несчастье. Он всем отказывал, отшучивался: «Я теперь одноглазое Лихо. Одноглазый циклоп Полифем». Предпочитал одиночество, чувствуя, что ему предстоит новый, быть может, завершающий период жизни, и нужно к нему приготовиться.

Он смотрел на себя в зеркало оставшимся зрячим глазом, словно перед наступавшей слепотой хотел себя запомнить. Пепельно-бледное, в металлических морщинах и складках лицо. Узкие, тесно сжатые, с тайной насмешкой губы. Упрямый лоб, на котором насечками нанесены

все его победы и поражения. Худая, с жилами и колючим кадыком шея. Под хмурыми бровями – настороженные, недоверчивые серые глаза, один из которых поражен прямым попаданием, а другой уже захвачен в тончайшую сетку прицела.

Грядущее сгушалось, как сумерки, готовые перейти в непроглядную ночь. Это не пугало его, но сулило новые переживания, ощущение новой, поставленной перед ним задачи. Тот, Кто поставил перед ним очередную задачу, не был руководителем военной разведки, из тех, что в разные годы отправляли его на воюющие континенты с требованием доставить в Центр уникальную военную или политическую информацию. Этот верховный руководитель был Тем, Кто создал его из крохотного пузырька протоплазмы, сотворил из него человека, выпустил в жизнь, поручив добывать в этой жизни, от рожденья до смерти, таинственные знания о бытии, добываясь прозрения среди затмевающих разум земных катастроф. Потеря зрения была не злополучным событием, не болезнью, а необходимым условием для того, чтобы увидеть прожитую жизнь иными глазами, обращенными внутрь. Угасание внешнего зрения сулило раскрытие сокровенных внутренних очей, которыми он сможет увидеть своего Создателя. Стоя перед ним, отчитаться за прожитую жизнь, высыпать ему в ладонь ничтожные крохи знаний, которые ему удалось собрать. И Создатель рассмотрит эти маковые росинки и сдует их с ладони за ненадобностью. Или пересыплет в драгоценный ларец, где собраны крупницы опыта, доставляемые испокон веков другими разведчиками.

Он ложился на кровать, закрывал глаза и старался заглянуть в глубь души, ожидая, что откроются внутренние очи, и он узрит небывалые, невиданные прежде картины. Но внутреннее зрение лишь повторяло внешнее. Виделась все та же сухая саванна Мозамбика, заминированная пустошь «аэродрома подскока», и крохотный, похожий на стрекозу, самолет приземляется, блестя винтом. Душная никарагуанская сельва в горячих болотах, и он раздвигает грудью липкую тину, неся на плече ствол миномета. Красные песчаники на берегу океана в провинции Кунене, советник ангольской бригады глотает из горла виски, подбрасывает бутылку, разбивая стекло автоматной очередью, а он своим сильным заостренным телом ныряет в ледяной океан, плывет среди розовых камней, хватая руками ленивую скользкую рыбу.

Внутренние очи оставались запечатанными. А внешние подвергались воздействию оптических приборов, лучей, лазерных вспышек, которые были бессильны перед Тем, Кто затмил ему зрение. Взял в невидимую длань его прозрачный, вдоволь насмотревшийся глаз, стиснул, пропуская сквозь пальцы стеклянную влагу, и лишь сверкнул в пустоте серебряный крестик штурмовика, наносящего удар по Герату.

* * *

Он вернулся из клиники домой, сосредоточенный и спокойный, позволяя ухаживать за собой приезжающим детям. Смотрел, как розовеет в вечернем воздухе зимняя Москва, словно прощался с нею. Видел, как начинает льдисто мерцать высотное здание на площади Восстания, похожее на голубую, высеченную из льда скульптуру. Прощался с оттенками розового, золотого, зеленого. Чутко ждал, когда к нему явится Тот, Кто позволял ему напоследок налюбоваться на этот мир.

На его столе красовалась небольшая ваза из синего стекла, прозрачная, рукотворная, с вкраплением пузырьков, с хрупкими стеклянными нитями, оставшимися от трубочки стеклодува. Это было знаменитое гератское стекло с особыми переливами лазури, оттенками зелени и морской синевы, возникавшими от добавлений в расплавленное стекло горных изумрудов и лазуритов. Среди шатров и дуканов гератского рынка, среди черной, как вар, толпы была мастерская стеклодува. Бесцветным пламенем сиял раскаленный тигель. Плескалась вялая жидкость стекла. Краснолицый стеклодув наматывал на длинную трубку прозрачный шар света. Дул в него, расширяя щеки и выпучивая фиолетовые глаза, словно играл на флейте.

Шар расширялся, из белого превращался в алый. Начинал темнеть, зеленеть. Мастер ударом ножа откалывал хрустальную пуповинку. И ваза, окруженная лазурным сиянием, остывала на верстаке, словно крохотная спустившаяся из неба планета.

Суздальцев ощупывал вазу пальцами, чувствуя ее хрупкость и колкость. Приближал лицо, наслаждаясь той особой, мусульманской синевой, в которой присутствовало божественное свечение, вызывавшее в душе сладостное благоговение. Поворачивал вазу, любясь игрой пузырьков. Стекло сохранило в себе воздух Герата, в котором высились смуглые изразцовые минареты, сухо и ярко желтели глинобитные дома Деванчи, на клумбе, перед мечетью краснели розы, колонна бронетехники, разведя пушки «елочкой», втягивалась в узкую улицу, и он, нагнувшись с брони, сорвал вялую душистую розу.

Он любовался вазой, и свет начинал в ней меркнуть, она темнела, как гаснущая голубая лампада. Пропал ее видимый образ, в руках оставался невидимый, хрупкий на ощупь предмет, а в глазнице еще трепетала синева. Но она исчезала, словно стеклодув втягивал обратно свое дыхание, убирал из глазницы изображение вазы.

«Ну вот, я ослеп», – подумал Суздальцев, пугаясь не тьмы, а присутствия Бога, который был явлен ему в лазури и теперь, отобрав зрение, ждал, что слепец станет открывать в себе духовное око, чтобы им созерцать необозримые просторы духа. «Боже, я ослеп, и теперь я Тебя увижу.» Он ожидал, что ему явится Божье лицо, как тот «Спас Яркое око», или «Спас Золотые волосы», что он видел в Третьяковской галерее, куда в детстве, в морозный московский денек, водила его мама. Но Спас не являлся, а в глазах стоял бархатный мрак.

С тех пор время его потянулось, как тревожное ожидание и непрестанная печаль. Он вглядывался в себя, надеясь, что в душе вот-вот раскроется глаз, неподвижный и ясный, заключенный в треугольник, рассылающий вокруг лучи ясновидения, каким изображают в храмах «Божье око». Но внутренне зрение оставалось все тем же, внешним, было наполнено видениями, среди которых прошла его жизнь. Песчаная насыпь с железнодорожной колеей, ведущей к тайландской границе. Сахарно-белый Бейрут с дымом одинокого взрыва. Синее шоссе под Лубанго с исковерканной сожженной «Тойотой».

Теперь он много лежал с раскрытыми глазами, которые были будто запечатаны сургучом, как депеша, предназначенная для могущественного получателя. Он больше не мог читать, и вспоминал стихи, которые, словно предчувствуя слепоту, выучил наизусть и теперь декламировал вслух, изумляясь их новому звучанию. Это были стихи Гумилева. Суздальцев находил в них множество созвучий, отыскивал странное тождество, с которым жизнь умершего поэта воспроизводилась его жизнью.

«Туркестанские генералы» были стихами о нем, молчаливом и одиноком, безмолвно пережившим исчезновение великого времени, уход России с Востока, куда некогда, через Устюрт и Мангышлак, двигались русские полки, покоряя Хиву и Бухару.

*Они забыли дни тоски,
Ночные возгласы: «К оружью»,
Унылые солончаки,
И поступь мерную верблюжью.*

Это четверостишие вызывало в памяти белесые, опудренные солью степи Шинданта, караван верблюдов, медленно перебрдававший шоссе, тусклый звяк колокольчика, который ночью сменялся звуком одинокого выстрела.

Африканские воспоминания были также созвучны.

*Высока была его палатка,
Мулы были резвы и сильны,*

*Как вино, впивал он воздух сладкий
Белому неведомой страны.*

Тут же воскресал глянцевитый цветущий куст на берегу океана, мерцающие проблески бабочек, взмах сачка, и он целует трепещущую марлю, благоухающую цветочной пылью, глядя в безбрежную синеву океана.

И, конечно же, стих о ночном бдении.

*За то, что пощадил я вас,
И одиноко сжег свой час,
Оставьте будущую тьму
Мне также встретить одному.*

Это было напрямую о нем, о его тьме, о потребности остаться в этой тьме одному, чтобы пережить преобразование в смерти.

Расстрелянный белогвардейский поэт, проигравший свою «белую империю», через сто лет, словно духовный брат, обращался к нему, «красному» генералу, потерявшему свою «красную Родину». И это было загадочно и сладко, он плакал слепыми глазами, и это были их общие слезы.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Он вспоминал дворец Тадж, где размещался штаб Сороковой армии, янтарного цвета, похожий на французский Трианон, окруженный пепельно-розовыми и сиреневыми склонами, туманными от полдневного жара. Вспомнил тот же дворец, но ближе, с полукруглыми переплетами окон, с лепными украшениями на желтом фасаде, на котором все еще сохранялась рябь осколков. Поднимался к дворцу по серпантину, среди пожухлых от зноя яблонь, сплошь увешанных красными литыми плодами. В ночь, когда брали дворец, по этому серпантину двигались боевые машины пехоты. В яблонях, у корней, были зарыты расстрелянные гвардейцы Амина, и красные, глазированные плоды были полны сладким соком той кровавой ночи.

Еще он помнил лестницы и коридоры дворца, по которым сновали потные от зноя штабисты. Раскрытые двери кабинетов с висящими картами, полевые телефоны, кричащие в трубки офицеры. На этаже, недалеко от кабинета командующего была деревянная стойка бара с золоченой резьбой. Ощупывая точеные завитки и соцветья, можно было отыскать пулевые отверстия той автоматной очереди, которая сразила Амина. Пуля, прошедшая сквозь мякоть его тучного тела, все еще таилась в древесных волокнах бара.

Начальника разведки, который вызвал его из гарнизона, не было на месте, он находился на выезде в Кабуле, и его заместитель, белесый, синеглазый майор с запекшимися губами, кинул на стол фломастеры и устало предложил подождать – через пару часов начальство вернется и вызовет его на доклад. Уходя, Суздальцев увидел, как майор жадно глотает жидкий чай из стакана, и в расстегнутом вороте нервно дрожит кадык.

Он покинул штаб и снова оказался в пекле. Предгорья, бесцветные и седые, слабо струились в стеклянных миражах, и воздух, который он вдыхал, входил в легкие сухой обжигающей струей. Высоко на холме, парящее, словно летающая тарелка, виднелось лазурное строение. Ресторан, в котором Амин принимал именитых гостей. Сейчас в нем размещался зенитный расчет, охранявший подлеты к штабу, хотя было неясно, какой летательный аппарат, преодолев хребты, может спикировать на янтарный дворец из расплавленного стеклянного неба.

Не хотелось спускаться с горы в военный городок с серыми казармами, офицерскими «модулями», ребристыми ангарами, среди которых солдаты в выгоревших на солнце рубашках перемещали какие-то бессмысленные тумбы. Сновали замученные гарнизонные женщины в блеклых платьях. Катил бензозаправщик. Не хотелось видеть одноэтажное здание, окруженное акациями, в котором обитал представитель ставки, надменный генерал с аристократической щеткой усов. О генерале ходили слухи, будто он, страдая желудком, выписал из Союза корову, которую доставили в Кабул самолетом. И теперь она паслась где-то поблизости, в складках холмов, поедая целебные полыни, нагуливая молоко, которое пил генерал.

Суздальцев не пошел в городок, а направился вниз с горы, напрямик через сад, надеясь отыскать укромное безлюдное место. Лечь на сухую землю в прозрачной тени поблекших кустов, подремать, слыша посвисты невидимой птички, думая сквозь сон о русской корове, живущей в афганских холмах.

Среди сада не нашлось ему места – сквозь плоды и листья выглядывал желтый дворец. Его, лежащего под яблоней, могли увидеть из окон офицеры. Пройдя сквозь сад, он наткнулся на пост охранения. В земляном капонире стояла боевая машина пехоты. На пыльной броне сидели солдаты, вяло жевали галеты. Осмотрели его оловянными от зноя глазами.

В поисках уединения он забрался на бугор, надеясь укрыться за его гребнем в тенистой складке. Но когда поднялся, услышал голоса, стук металла, рокот двигателя. В ложбине на красноватой земле стоял четырехосный тягач, и перпендикулярно к его платформе острая, как огромный заточенный карандаш, возвышалась ракета. Вокруг двигались люди в черных комбинезонах, ярко блестели домкраты, подпиравшие тяжеловесную установку. Ракета была из тех,

что использовались по скоплениям моджахедов в кишлаках и городских предместьях, когда применение авиации было затруднено из-за мощной противовоздушной обороны, и вертолеты и штурмовики несли потери. Такая ракета падала в тесные кварталы глинобитных строений, разносила их фугасным зарядом, а несгоревшее топливо учиняло гигантский пожар, в котором плавилось железо и камень. Суздальцев, не спускаясь к ракете, присел на склон, наблюдая приготовления к пуску.

Солдаты продолжали укреплять гидравлические опоры. Офицеры то забирались в кабину установки, то снова начинали двигаться вокруг тягача. Один из них держал вертушку, крутившую лепестки в потоках жаркого ветра. Другой неразборчиво, хрипло говорил по рации. Суздальцеву казалось, что сверху он различает на руке офицера обручальное кольцо, – времени загорался золотой ободок. В прогалы холмов, среди которых пряталась ракета, клетчатый, словно розовая вафля, виднелся Кабул.

Суздальцев, сидя на жарком струящемся склоне, представлял удаленный кишлак, сухой, горчичного цвета дувал, домашний очаг, над которым склонилась женщина в сиреновой долгополой накидке. Ее черные волосы, разноцветные камушки бус. На утопанной земле бродят куры, шалют и резвятся дети, и женщина, распрямляясь, отводит смуглой рукой упавшую на лицо прядь волос. И представлял другую женщину, жену офицера, живущую в крохотном городке, за тысячи километров отсюда. Она выкатывает в палисадник коляску, достает из нее ребенка, раскрывает белую млечную грудь, подносит младенца к розовому соску, и тот крохотными губами впивается в сладкую материнскую плоть. Огромное пространство, разделявшее двух этих женщин, было стиснуто в малом зазоре пускового устройства, между медными клеммами, сквозь которые проскочит искра. И можно пробежать с холма, объяснить офицеру с обручальным кольцом свойство испепеляемого пространства, в котором гибель одной женщины влечет неминуемую гибель другой. И от воли ракетчика зависит сбережение жены и ребенка, пусть просунет между медными клеммами хоть бы этот вялый блеклый листок, останавливающий проблеск искры. Он сидел, перетирал пальцами листок неизвестного горного растения, вдыхал его пряную горечь.

Пуск ракеты был косвенно связан с его прибытием в штаб армии, по вызову начальника разведки. Уже несколько месяцев на территорию Афганистана, в отряды моджахедов, поступали американские «стингеры». Переносные зенитно-ракетные комплексы с инфракрасным и ультрафиолетовым наведением, от которых авиация несла огромный урон. Сбитые вертолеты и штурмовики лишали войска возможности проводить масштабные операции, сеяли панику среди авиаторов, заставляли их подниматься на недостижимую высоту, откуда невозможно было громить наземные цели. Вертолетчики, утратившие господство в воздухе, с горькой иронией называли себя «космонавтами». Ход военных действий ощутимо менялся, грозя переломом. «Стингеры» по тропам переправлялись из Пакистана и растекались по приграничным районам. Уже применялись моджахедами под Джелалабадом и Хостом, Файзабадом и Гордезом. Батальон спецназа под Лашкаргахом, откуда прилетел Суздальцев, был нацелен на перехват караванов, с которыми «стингеры» должны были проникнуть в окрестности Шинданта и Герата. Предотвратить их расползание в приграничных с Ираном районах.

Вся деятельность разведки была направлена на поиск ожидаемых караванов. Шла работа с агентурой в окрестностях Кандагара, совершались неустанные разведывательные полеты над песчаной пустыней Регистан. Караваны не появлялись, но их приближение ощущалось по множеству косвенных признаков.

Суздальцев увидел, как ракетный расчет кинулся прочь и стал прятаться в неглубокий, отрытый в стороне окоп, к которому от платформы тянулся кабель. Стало тихо. Розовела вдалеке вафля Кабула. Он ощутил больной укол в сердце, словно ударила крохотная острая искра. Под соплом ракеты зашипело, вырвался белый пар, раскрылась огненная юбка, из которой вверх скользнуло тело ракеты. Повисло среди грохота, опираясь на шар огня. Ракета пошла

ввысь, раздувая шипящее пламя, все быстрее и быстрее, извергая из сопла ослепительный свет. Рванулась, уменьшаясь, меня траекторию, пульсируя факелом, роняя на землю стихающий рев. Ушла в блеклую голубизну, оставив на земле рыжее, окруженное копотью костровище, горчичную пыль, которая медленно оседала на холмы, на окоп, на полевые зеленые звезды его погон. Тишина. Кабул, похожий на розовый отпечаток. Где-то в поднебесье мчится ракета, приближая к кишлаку чудовищный взрыв.

Сзади на склоне зашуршали шаги. Сбежал порученец, одергивая под ремнем мешковатый китель:

– Товарищ подполковник, начальник разведки вас ждет.

Суздальцев поднялся и последовал за порученцем, видя, как сыплются из-под его подошв мелкие камушки.

* * *

Он старался вспомнить лицо начальника разведки, которое с годами забылось, затуманилось, запылилось. Исчезло вместе с другими, унесенными временем лицами. Небольшой влажный лоб, на котором загар кончался у корней волос, и розовел рубец от только что снятой пятнистой кепки. Бледные залысины с редкими желтоватыми волосами. Тревожные, сквозь очки, глаза, которые часто моргали, словно хотели выдавить накопившееся ядовитое солнце. Рот усталый, нена начальственный, почти просительный, выговаривающий звук «р» с легким бурлением.

– Вот об этом я вам и хотел сообщить, Петр Андреевич. Эта информация поступила из Центра, от нелегалов в Иране. Иранцы тоже, как и мы, охотятся за «стингерами», засылают в район Герата группы захвата. Операция, в которой вы задействованы, имеет, стало быть, два направления. Не пустить караваны в район Герата. И не позволить иранцам перехватить зенитно-ракетные комплексы. Центр считает, что в случае захвата иранцами, «стингеры» могут попасть в руки террористов, и где-нибудь в районе Гамбурга или Рима начнут падать пассажирские лайнеры. А это, как вы понимаете, нам ни к чему. За ходом операции следят сразу несколько членов Политбюро, МИД и лично Юрий Владимирович. У вас есть шанс увеличить число звезд на погонах или, напротив, уронить в пыль имеющиеся. Каково-то их из пыли опять доставать. – Начальник разведки кисло улыбнулся, и на его облупленном носу сильнее заблестели капельки пота. Он недавно переболел гепатитом, собирался, не дослужив срок, вернуться в Союз. Отдавал операцию на откуп Суздальцеву, тайно от нее отрекаясь.

– Вот, посмотрите, где предположительно базируются иранские группы. И на каких тропках они могут перехватить караваны. – Он шелестел указкой по большой настенной карте, где извивались дороги и реки, зеленели низины и желтели предгорья, краснели стрелы осуществляемых войсковых операций и в черных овалах значились цифры бандформирований и имена полевых командиров. Суздальцев смотрел на карту, а видел бронегруппы, идущие по ущельям, пикирующие на кишлак вертолеты, ловких, с красными лицами бородачей, скачущих по камням, и огромный слепящий взрыв от упавшей ракеты, медленная черная копоть, похожая на сутулого великана.

* * *

У оперативного дежурного он узнал, что дневные борты на Кандагар ушли, и остался единственный ночной рейс «Черный тюльпан», который вылетает из Кабула и идет по кругу, опускаясь во всех крупных гарнизонах, забирая «груз 200» – ящики с цинковыми гробами. Он поспешил в аэропорт, стараясь не опоздать на погребальный самолет.

Вечерний Кабул был малиновый, сине-зеленый и перламутровый. Взгорья, усеянные клетчатыми домами, казались розовыми раковинами, в которых притаился сочный живой моллюск. Жара спала, город оживал. Открывались дуканы. Под навесами пили чай. В глубине мастерской пламенел горн, и кузнец выхватывал из углей поковку. Солдат в панаме вел машину, ловко виляя среди городских такси, моторикш, бегущих сиреневых осликов. Иногда развеянные накидки прохожих громко хлопали по дверцам автомобиля. Суздальцев остро, с жадным наслаждением вглядывался в картины восточного города, стараясь смотреть на него не глазами военного, а взором странника, обожающего эту пленительную азиатскую красоту, волновавшую столько русских очарованных глаз.

Река Кабул шоколадного цвета мчалась в глиняных берегах, женщины стирали белье, раскладывая на камнях влажные разноцветные ткани. Рынок, черный, шевелящийся, наполненный фиолетовой тьмой, искрился лавками, мерцал лампадками. Мелькали медные чаши весов с пирамидами белоснежного риса. Сверкали золотые браслеты и ожерелья. Лежали на мостовой черно-красные негнувшиеся ковры, по которым катили автомобили, пробегали запряженные в повозки ослики, ступали сандалии нескончаемых прохожих. Торговцы время от времени приподнимали ковры, жесткие, как кровельное железо. Минарет мечети Пули-Хишти, зеленый, стеклянный, казался высеченным из прозрачного льда, переливался изразцами в вечернем небе, и с него гулко и страстно зывал муэдзин.

Ему хотелось остановить машину, выйти в город, слиться с разноголосой толпой. Сменить полевую военную форму на просторные шаровары, бархатную, усыпанную блестками безрукавку, вольную накидку, рыхлую, небрежно скрученную чалму. Стать неразличимым в толпе. Стать обитателем этого восхитительного города, в котором присутствовала волнующая тайна, побуждавшая русских совершать свои восточные походы, грезить о теплых морях, расширять империю приращением этих душистых садов, изумрудных мечетей, лазурных хребтов.

Они выехали на Майванд, и, казалось, улица наполнена вязкой, тягучей смолой. Такой была бессчетная толпа чернобородых людей с гончарными лицами, их тюрбаны и облачения, их клубящиеся на тротуарах сгустки. Мерещилось, толпа изливается из глубин земли, наполняет город, словно темное варенье переполняет кипящий чан. Шаркая сандалиями, здесь проходят и исчезают народы, имя которых теряется в даях времен. Идут мудрецы и торговцы, целители и поэты, путешественники и богословы, чьи стихи и вероученья, оружие и знамена исчезают бесследно, превращаясь в бесцветную пыль. Он смотрел на Майванд, словно боялся, что видит его в последний раз, и старался запомнить.

– Вот здесь вчера старшего лейтенанта убили, – сказал шофер, кивая на дуکان с изделиями из мехов и овечьих шкур.

– Как случилось? – рассеянно спросил Суздальцев.

– Пошел жене дубленку купить. Перед тем, как в Союз возвращаться.

Казалось, тайна, присутствующая в городе, была близка и доступна. Скрывалась за каждым гончарным лицом, за каждым уступом клетчатой горы, похожей на пчелиные соты. Стоило зорче вглядеться, наполнить грудь напряженным вздохом, ощутить в душе горячую молитву, и вместо носатого чернобородого лица, синего изразцового купола откроется божественный свет, окно в иной, восхитительный мир, в чудесное, не знающее смерти пространство.

Он замечал брадобрея, водившего бритвой над головой старика, и старик, весь в пене, терпел касания бритвы, а прилежный брадобрей, орудуя лезвием, высунул язык. Замечал водноношу, подставлявшего бараний бурдюк под струю из колонки. Сутил спину под тяжелой поклажей, шагал вверх по склону, осыпая блестящие капли. Замечал мускулистого, голого по пояс хазарейца, толкавшего повозку, на которой высилась ярко-оранжевая гора апельсинов. За каждым лицом таилась близкая тайна, сердце, словно сочный бутон, стремилось навстречу чуду.

Он приехал в аэропорт, когда быстро темнело. Взлетное поле с алюминиевыми самолетами уже было в сумерках. Лишь на окрестных горах догорали розовая и голубая вершины. У диспетчера он узнал номер стоянки и пошел по бетону туда, где белесый, с черными цифрами и красным крестом, стоял самолет. Хвостовая аппарель была опущена, солдаты вносили на борт брезентовые тюки.

– Вы, товарищ подполковник, садитесь вперед, в «барокамеру», – штурман вписывал Суздальцева в полетный лист. – А то замерзнете в высоте-то с гробами.

* * *

Самолет поднялся в темноте, разбрызгивая огненные шарики «термиток», – тепловые имитаторы цели. Из-под крыльев сыпались яркие бусины, уносились в ночь, оставляя на алюминиевой обшивке гаснущие отсветы. Это напомнило Суздальцеву о «стингерах», которые уже проникли в зону Кабула и грозили тяжеловесным транспортам, доставляющим из Союза армейские контингенты и военные грузы. Парашют, который навьючили на него летчики, служил той же цели – спасению, в случае попадания в самолет зенитной ракеты. Он смотрел в иллюминатор на серую неразличимую землю, на головки отлетающих «термиток» и представлял, как в ночных предгорьях притаился расчет моджахедов, ведет по небу прицелом, улавливая в оптику медлительный транспорт. Но винты уже ревели в черной высоте, накрывая горы звенящим шатром.

Его мысли, после упоительных зрелищ вечернего Кабула, напоминающего разноцветный фонарь, после янтарного дворца, похожего на драгоценную шкатулку, которую взломал отряд спецназа, выпустив в синее афганское небо духов войны, – его мысли вновь погрузились в заботы. Утром, когда он вернется в Лашкаргах, продолжатся встречи с агентами, что приносят путанные, непроверенные сведения о маршруте каравана. Возобновятся жестокие допросы братьев Гафара и Дарवेशа, истерзанных побоями, криками майора, запивающего свою ругань из бутылки мыльного «Коко». Начнутся облеты пустыни Регистан с ускользающей надеждой обнаружить в безбрежных песках зыбкую черточку каравана. Его мысли рисовали чертеж операции, в которую были вплетены караванные тропы, названия кишлаков, донесения осведомителей, засады на путях караванов, а теперь, после встречи с начальником разведки, был принесен «иранский фактор», – «третья сила», способная сорвать операцию.

Перелет из Кабула в Баграм занял несколько десятков минут. Самолет, освещая прожектором серебристый бетон, опустился на поле, и к нему стал подкатывать грузовик. Летчики опустили хвостовую аппарель, сошли на землю. Курили, глядя, как из грузовика в свете фар несколько солдат несут деревянный ящик. Стучат башмаками по аппарели, грохают ящик, шумно его двигают, устало уходят из фюзеляжа. Летчики переговаривались, и Суздальцев, не выходя из самолета, слышал их голоса:

– Я тебе, Васильич, должен два «чека». И больше я с тобой не играю.

– Ты прав, игра дураков не любит.

Они засмеялись, Суздальцев видел, как упал на бетон красный огонек сигареты, и летчик затоптал его, винтообразно вращая каблук. Аппарель поднялась, фары грузовика пропали, и ящик в фюзеляже погрузился в темноту.

Самолет взлетел, рассеивая в небе огненные семена. Баграм, где располагалась дивизия, отдыхал после кровопролитных боев в Панджшере, когда из ущелья шел поток раненых и убитых, и «Черный тюльпан» был перегружен гробами. Теперь же в этом одиночном «цинке» мог находиться солдат, попавший под шальную пулю, или угодивший по нерасторопности под танк, или не выдержавший приступа гепатита. Суздальцев не желал думать о лежащем по соседству солдате, о его родителях, читающих весточку сына, которая не предвещала ни скорых рыданий, ни похорон на деревенском кладбище, ни пирамидки с красной звездой. Прижимался

головой к самолетной обшивке, дрожащей от работы винтов. Вибрация машины соединяла его с дребезжащим металлическим корпусом, делала деталью самолета. Он был «деталью войны», занимал незаметное место в ее громадном механизме. Будет служить механизму, пока ни износится. Тогда деталь извлекут, поместят в деревянный ящик и поставят на ее место другую.

Опять он думал о незавершенной, грозящей срывом операции. Его агенты, под видом торговцев, уходили в Пакистан, в Кветту, где находились секретные базы, и американские советники обучали моджахедов новейшим средствам ведения войны. В Кветте под прикрытием работал драгоценный агент, доктор Хафиз, проходивший стажировку в Союзе, приславший бесценные сведения о караване со «стингерами», который должен был пройти сквозь пустыню, от одного колодца к другому. Через пустыню Регистан двигались караваны с контрабандным товаром. Навьюченные верблюды с «кассетниками» из Тайваня, дешевыми часами из Гонконга везли замаскированный груз итальянских мин, китайских автоматов, мобильные госпитали для воюющих отрядов. Доктор Хафиз сообщал, что караван «стингеров» мог выйти в ближайшие дни. Быть может, уже идет, оставляя в песках едва заметную с вертолета бороздку. Сведения Хафиза сверялись с другими, а те разнились, путались, наскоро обученные агенты не внушали доверия. Иные забирали вознаграждение и исчезали бесследно. Другие могли быть завербованными пакистанской разведкой, и их неверная информация должна была отвлекать Суздальцева от истинного маршрута, путать спецназу карты, расходовать впустую ресурсы и время. Пленники Гафар и Дарвеш, по утверждению Хафиза, были теми, кто должен был встречать караван у границы, вести его по безлюдной пустыни, переправляя на север, к Шинданту и Герату.

Самолет сипло взвыл, сбрасывая обороты винтов и выпуская закрылки. Кропил небо огненными брызгами «термиток», заходил на посадку в аэропорту Джелалабада. Суздальцев не покидал борт, не расстегивал лямки парашюта. Видел, как цепко, по обезьяньи, летчики спустились с трапа, принимали от встречающих какие-то бумаги, светили фонариком. Мутно виднелось здание аэропорта. Построенное американцами, арочное, белоснежно сверкавшее днем, сейчас, без единого огонька, оно напоминало гору грязного известняка. Блуждая лучами, к самолету катил грузовик. С него спустили три ящика. Сопровождавшие «груз 200», подсвечивая фонарем, читали на ящиках имена, сверяли их с теми, что значились в бумагах. Вновь стучали солдатские башмаки по аппарели, скрипел металл. Сквозь стеклянное окно из «барокамеры» Суздальцев видел, как новая партия ящиков потеснила тот, что погрузили в Баграме. Под Джелалабадом шли бои в районе гидроузла, и это могли быть потери последнего дня.

К летчикам подошли две продавщицы военторга, стали проситься на борт.

– Мальчики, подбросьте до Кандагара. Товар везем, – просила молодая, в мелких кудряшках, играя перед штурманом полной грудью.

– Нету, девочки, места. Если бы вы были в ящиках, тогда бы взяли.

– Возьмите, мы вам тушенкой заплатим.

– Нас от тушенки воротит. Нам бы чего-нибудь свеженького, что у вас под юбкой.

– Да там у них тоже тушенка, – заметил командир корабля, отворачиваясь от наседавших продавщиц.

Суздальцев подумал, что эти бойкие женщины, освещенные фарами военного грузовика, занесенные лихом к пакистанской границе, были, как и он, «деталью войны». Встроенные в громадный, слепой механизм, они промелькнут своими кудряшками, неразличимыми лицами, тенями, что отбрасывают на бетонные плиты, и навеки исчезнут из памяти. Их тени уже удлинились, отклонялись в сторону, пропадали по мере того, как грузовик отъезжал от самолета. Последним, безнадежным усилием он старался спасти их от исчезновения.

В Хосте «Черный тюльпан» не садился, и это значило, что придорожные заставы, колонны «наливников», группы уходивших в горы десантников не несли потерь. Крылатый катафалк направлялся в Кандагар, чтобы в следующий раз непременно приземлиться в Хосте.

Мерно звенели винты, дрожала алюминиевая обшивка, по которой прокатывались медлительные волны звука. И если прислушаться, начинали мерещиться знакомые мелодии, будто музыкальная память входила в резонанс с металлической музыкой самолета. Вначале, под аккомпанемент моторов явился романс: «Средь шумного бала, случайно», и возникло лицо бабушки, которая приклонила свою седую милую голову к пластмассовому репродуктору и слушала любимого певца. Звуковая волна самолета настроилась на мелодию песни: «Помню, я еще молодухой была», и он вспомнил почему-то осенние подмосковные леса, свою первую любовь, очаровательную девушку, с которой шел вдоль просеки с красными осинами, и из деревьев вылетали дрозды. Самолет снова плавно перешел на другую волну, и обшивка стала вызывать: «Миллион, миллион алых роз». Вспомнилась пирушка с московскими друзьями, их бессмысленные счастливые речи, и кто-то, пьяный, восторженный, требуя тишины, произнес тост «за милых женщин». Самолет пропускал сквозь алюминиевый корпус одну за другой мелодии, и этот концерт, кроме него, Суздальцева, слушали те, кто был запаян в гробы.

В иллюминаторе стояла полная голубоватая луна, окруженная оранжевым кругом. Суздальцев, не мигая, смотрел на луну, на ее таинственную синеву, и казалось, самолет недвижно повис, прикрепленный к луне тончайшими нитями, и от этой мнимой неподвижности кружилась голова. Преодолевая магнетизм ночного светила, он начинал смотреть вниз, и совсем близко видел горные, покрытые ледниками хребты, которые медленно проплывали, переливаясь наледями, глазированным настом, голубыми лунными отсветами. Они были так близко, что их можно было тронуть рукой. Они казались огромными фарфоровыми сервизами, голубоватыми вазами, чашами, в гляцевитую поверхность которых были вморожены уснувшие метели, околдованные оползни, темные утесы. Это казалось галлюцинацией, лунатическим сном, который он видел, не закрывая глаз, и в его сновидения сквозь открытые зрачки залетали прозрачные духи, безмянные, струящиеся за самолетом видения. Ночной мир с луной и оранжевым кругом, и недвижный самолет, под которым кто-то пронесет огромный поднос с сервизом, и он, сидящий с парашютом совсем близко от ящиков с телами убитых, – все это казалось изделием таинственного стеклодува. Тот тихо дул в невидимую трубку, выдувая и эту луну, и оранжевое, окружавшее ее кольцо, и самолет, в котором он, Суздальцев, грезил исчезнувшим прошлым и несуществующим будущим. Было невозможно заглянуть за пределы голубого сосуда по другую сторону бытия, чтобы увидеть лицо стеклодува, понять его таинственное ремесло. Понять, для чего он, Суздальцев, военный разведчик, находится на жестокой, не имеющей окончания войне, а когда-то сидел с ногами в уютной качалке и слушал, как в соседней комнате тихо смеются мама и бабушка, и их смех – о нем, исполнен нежности и любви. И было чудесное время, бесконечно удаленная жизнь, когда он бежал по снежному полю на красных лыжах, и казалось, что это две деревянные лодки плывут по сверканью вод, и под лыжами ломались сухие, торчащие из-под снега цветы.

Сзади щелкнула дверь. Замерцали циферблаты приборов, цветные огоньки индикаторов. Второй пилот и штурман вышли из кабины, присели рядом с Суздальцевым.

– Самое время, товарищ подполковник, согреться. За бортом – минус пятьдесят, – штурман откинул столик, поставил бутылку водки, выложил на газету копченую колбасу, расставил стальные рюмочки. – Где еще накормят, напоят.

К ним присоединился командир, поставив машину на автопилот. Машина с пустой кабиной продолжала послушно лететь вблизи от вершин. Штурман грубо накромсал колбасу, рассек буханку, налил водку.

– Ну, как говорится, за нас с вами и за хер с ними!

Чокнулись, жадно выпили, молча зажевали. Суздальцев проглотил обжигающий сгусток, дожидаясь, когда в голову мягко хлынет тепло. Оно колыхнулось, и вместе с теплой прозрачной волной явилась неясная мысль – где-то в горном ущелье, свернувшись под овечьей шкурой, спит моджахед, в его изголовье автомат с разукрашенным ложем, с вкраплениями перламутра

и лазурита. Пуля в стволе автомата слышит высокий звук самолета. Знает о нем, Суздальцеве. Ищет с ним встречи – на горной тропе, или в сумятице восточного рынка, или на пыльной броне «бэтэра».

Словно угадав его мысль, штурман налил по второй:

– Чтобы дырочки нам в погонах сверлили, но никак не в голове, – повторил он скороговоркой известный тост. Все чокнулись. Рюмка Суздальцева заслонила на мгновение луну.

И этот тост, и рюмочка, перечеркнувшая луну, и вдавленный, с большими ноздрями нос штурмана, и островерхая вершина горы с оледеневшей лавиной, – все это было изделием стеклодува, который тихо дул в трубку, раздувая ледяное пламя луны и оранжевое кольцо вокруг.

– А теперь, как положено, третий тост.

Все поднялись. Суздальцеву мешал парашют, и он двинул под ним плечами.

– Царствие небесное, – кивнул штурман на перегородку, за которой лежали гробы. Все выпили, не чокаясь, и те, кого они помянули, молча участвовали в тризне под афганской луной.

– Теперь долетим без проблем, – сказал штурман, забирая пустую бутылку, остатки колбасы и хлеба. – До Кандагара часа полтора. Подремлите, товарищ подполковник, – и летчики скрылись в кабине.

И он дремал, слушая романсы и русские народные песни в исполнении металлического самолета.

В Кандагаре, жужжа винтами, светя аметистовым прожектором, самолет подкатил к зданию аэропорта, который напоминал белесую гору с вырытыми на склоне пещерами. Большинство пещер были черными, лишь в нескольких красновато светились овальные входы, словно обитатели жгли в глубине костры. Суздальцев спустился на бетон, ощутив дыхание ночного свежего ветра, уносившего запахи металла и топлива, вдыхал сладкие ароматы близкой пустыни. Два грузовика пятились к самолету с открытыми бортами. В одном кузове темными ступенями громоздились ящики, солдаты стягивали неудобную ношу, несли ее вшестером к самолету. В другом кузове лежал продолговатый сверток, обернутый в фольгу. Так выглядит конфета, когда с нее снимают фантик, и остается серебряная бумажка. В фольге покоилась мертвая личинка человека, для которого не нашлось ни гроба, ни ящика.

Суздальцев простился с пилотами и направился к аэропорту, чтобы найти в холодном помещении место и подремать до утра, покуда ни придут «вертушки» из Лашкаргаха. Навстречу возникли двое в пятнистых, как у тритонов, комбинезонах, и он узнал вертолетчиков, прикомандированных к батальону спецназа. Тех, с кем не раз совершал разведывательные полеты над пустыней. Капитан Леонид Свиристель, замкомэска, и его друг и обожатель старший лейтенант Равиль Файзулин. Оба вышагивали, засунув руки в карманы брюк, и в полутьме Суздальцев удивился сходству Свиристеля с птицей, которая одарила его фамилией. Хохолок на голове, круглые быстрые глаза, острый нос, подвижные плечи, словно он готовился подпрыгнуть и полететь, издавая булькающие и свистящие звуки. Таков был его смех, его волнообразная, как птичий полет, походка.

– Вы как здесь, молодцы? – обрадовался Суздальцев, пожимая ладони вертолетчиков.

– Да вот, доставили «груз 200». Сейчас обратно в батальон, – ответил Файзулин.

– Кто таков? – Суздальцев кивнул на грузовик, где переливался серебряный сверток.

– Солдатик из второго взвода. Пошел бедолага на пост и застрелился. Говорят, письмо получил из дома. Девушка замуж вышла. Вот и пуля в сердце.

– Впрямь бедолага, – крутанул хохолоком Свиристель. – Разве можно из-за женщин стреляться? На войне тебе пулю дают, чтобы ты ее в «духа» выпустил. А «дух» тебя и так своей пулей найдет. Что, летим домой, Петр Андреевич?

Через несколько минут два вертолета с бортовыми номерами «44» и «46» разгонялись один за другим, взмывали над летным полем, где в капонирах притаились штурмовики со звездами, способные взмыть в кандагарское небо и через двадцать минут атаковать цели в Персид-

ском заливе, бомбить тяжеловесные танкеры с нефтью, корабли Пятого американского флота, совершить долгожданный прорыв России к «теплым морям». Вертолеты медленно отворачивали от Кандагара. Сквозь иллюминатор было видно, как в кандагарской «зеленке» идет ночной бой. Висели оранжевые осветительные мины с волнистыми хвостиками. Беззвучно полыхали подслеповатые взрывы. Вдоль дороги, по которой утром пойдут колонны, артиллерия рвала сухую землю с остатками виноградных лоз и осколками кишлаков. Среди взрывов, неуязвимые, перебежали легконогие бородачи с «безоткатками», осыпая заставы длинными молниями. Утром вдоль дымящихся обочин потянутся усталые колонны, протаскивая пыльные шлейфы вдоль искореженных фугасами «бэтээров» и танков.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Утром он покинул свою комнату в гарнизонном модуле и вышел на пепельный плац, где совершался развод батальона. Стояли повзводно шеренги солдат в серых панاماх. Командиры делали доклад комбату и получали задания по несению гарнизонной службы. Глинобитные казармы, блочный офицерский модуль, кунги с антеннами, накрытые маскировочной сеткой, – все было в сухом жарком солнце. Саманная изгородь окружала гарнизон, и по периметру были зарыты в землю боевые машины. Перед воротами высились мешки с песком, с узкими пулеметными гнездами. Выгоревший, едва розовеющий флаг висел над штабом. За оградой мутно мерцала свалка с металлическими вспышками консервных банок. Грифы совершали круги в бесцветном небе, неохотно садились на помойку, выгибая голые злые кадыки. В стороне приютился незаметный саманный домик, где разведчики встречались с пришедшими в гарнизон агентами. Там же велись допросы. Там же находилась тюрьма.

У входа в домик Суздальцева поджидал его заместитель майор Конь, лысый череп, пшеничные усы над презрительными, оттопыренными губами, мясистый нос и выгоревшие до белизны брови с водянисто-синими, навыворот, глазами. Его большое, неумное тело было готово двигаться, лезть на броню, плюхаться на железную скамью вертолета, шумно падать в бассейн недавно построенной бани. При допросах наносить зубодробительные удары в бородатые лица пленников.

– Ну что, Петр Андреевич, получил втык или благодарность начальства?

– Скорее втык, Анатолий Иванович. Недовольны, что у нас до сих пор ноль результатов. Пригрозили, что устроят нам с погон звездопад. А вообще, дали вводные по иранской тематике.

– А по китайской, часом, не дали? Дали бы лучше вводные по итальянской тематике, мы бы отсюда куда-нибудь в Неаполь махнули. Попили бы настоящее вино, отведали морскую кухню, посмотрели на красивых женщин и забыли бы эту чертову дыру, где хорошо только грифам помоечным.

– Есть что-нибудь новенькое от братьев-мусульман? Или по-прежнему тянут резину? Похоже, они морочат нам головы, наводят на ложный след. Тем временем груз малыми порциями преспокойненько пересекает пустыню и расползается по гератской «зеленке». Есть информация от доктора Хафиза?

– Сообщил, что скоро вернется из Кветты. Придет, не раскрывая себя, с контрабандным грузом. Доставит списки пакистанских агентов и явки в кишлаках по периметру пустыни. Будем брать.

– Цены ему нет, Хафизу. Но, похоже, со «стингерами» у него прокол.

– Вчера посылали «вертушки» в район Банадира и Хан-Нишина. Все пусто.

– Надо поднажать на братьев.

– Сейчас поднажмем.

Они вошли в дом, где было прохладно, сквозь тесное оконце проникал пучок солнца. Стоял стол с полевым телефоном, бутылка «коки». На табуретках сидели два здоровенных прапорщика, Корнилов и Гмыря. Встали, козырнули вошедшим офицерам.

– Ну, давай, Корнилов, веди сюда сначала Гафара, младшенького. Доктору его вчера показали?

– Все кости целы, а шкура заживет, как на собаке.

Прапорщик вышел и через несколько минут вернулся, толкнув в комнату пленного афганца.

Гафар был невысок, худ, с голыми ключицами под разорванной блеклой рубахой. На стриженной голове краснела усыпанная бисером шапочка. Из черной, начинавшей сесть

бороды выглядывала фиолетовая распухшая губа. Он прикоснулся к ней тонкими пальцами. Было видно, что у него выбиты зубы, и он то и дело нащупывал языком оставшиеся пустоты. Когда он приподнимал руку, рубашка под локтем расходилась, и открывался на ребрах синий вспухший рубец от удара ремнем. Он переступил порог комнаты, заслоняясь ладонью от майора, словно ожидал немедленного удара. Чернильные глаза дрожали страхом, тоской, ожиданием мучений.

– Садись, – произнес майор Конь. – Да садись, тебе говорю! – он толкнул пленного к табуретке, и тот присел, ссутулился, желая занимать как можно меньше места на табуретке, на которой вчера испытал столько боли и мук.

– Ну вот, дорогой Гафар, пришло время нам опять с тобой поговорить, – майор рассматривал афганца своими голубыми глазами доброжелательно и насмешливо, как рассматривают занятого зверька, от которого ждут потешных реакций. – Как себя чувствуешь? Я вчера погорячился, согласен. Но ведь ты сам меня довел.

Суздальцев не испытывал жалости к афганцу. Тот являлся одним из звеньев в расследовании, от которого зависел исход операции, успех изнурительных действий множества людей, жизнь авиаторов, чьи машины, сбитые «стингерами», превращались в комья огня. Афганец был все той же «деталью войны», которая подвергалась здесь, в комнате для допросов, интенсивным нагрузкам, чтобы, в конце концов, не выдержать и сломаться.

– Так что, прошу тебя, Гафар, пожалей и себя и меня. Мне было тоже вчера не сладко. Давай, говори всю правду.

Суздальцев отмечал у майора хорошее знание фарси, которым сам он не мог похвастаться. Конь отлично владел оттенками разговорной речи, а также изысканными оборотами персидской поэзии, декламируя наизусть главы из «Бабурнаме», певуче и сладостно, закатывая голубые глаза. Теперь он наклонился к афганцу сильным мускулистым телом, держа кулаки в карманах, чтобы их грозный вид не пугал избитого пленника.

– Так будешь ли, дорогой Гафар, говорить правду?

– Господин, я говорю правду, – произнес афганец, складывая молитвенно руки, и Суздальцев заметил, какие розовые красивые у него ногти и длинные смуглые пальцы. – Не знаю ни про какой караван.

– Правильно говорят о себе афганцы: «Думаем одно, говорим другое, делаем третье». Но я хочу, чтобы ты и думал, и говорил, и делал одно и то же. А то я опять рассержусь.

– Господин, этот лгун Хамид говорит неправду. Не знаю ни про какой караван. Хамид зол на меня за то, что я прогнал его баранов. Его бараны пришли на мое поле, стали пить воду из моего арыка. Я их погнал, они побежали, и один баран сломал себе ногу. За это Хамид меня ненавидит. Не знаю ни о каком караване.

– Если ты будешь врать, я сломаю тебе ногу, как тому барану. Слушай меня внимательно. Люди о тебе говорят, что ты получил от кого-то большие деньги, купил грузовик и ездил на нем в Кветту, перевозил оружие. Теперь тебе поручили переправить сюда ракеты, и я хочу знать, где и когда пройдет караван.

– Господин, какое оружие я возил из Кветты? Мука, рис, масло. Два раза возил бензин и партию резиновых калош. Грузовик не мой, мне сдал его в аренду инженер Азис, но я вернул ему грузовик, потому что не хватает денег с ним расплатиться. Я бедный человек, господин.

– Инженер Азис сказал, что ты возил на его грузовике оружие, и у тебя в Пакистане есть друзья-военные. Они поручили тебе встречать караван с ракетами. Скажи, по каким тропам в пустыне пойдет караван? В Хаджа-Али, в Сурхдуз, в Кандалу? Там есть колодцы, и верблюды могут напиться. Или в Палалак, в Дехши, где нет колодцев, и ракеты повезут на «Тойотах»?

– Господин, не знаю ни про какой караван.

Майор грозно рыкнул, замахнулся, и афганец отпрянул и съежился. Кулак майора повис над красной бисерной шапочкой, готовый вдавить ее в плечи ударом.

Глаза пленника были похожи на ягоды черной смородины – чернильные, без зрачков, с золотой искрой. Фиолетовая тьма выдавала беспредельный ужас, ожидание мук, предчувствие неминуемой смерти. Золотой проблеск говорил о страстном желании жить, о надежде спастись, о мелькающих в сознании способах обыграть жестокого человека, в чьих руках находилась его жизнь. Узкое, избитое тело афганца искало лазейку, куда бы могло ускользнуть.

Майор Конь убрал кулак. Продолжал допрашивать благожелательно и спокойно, чтобы душа афганца не нырнула от страха в темную норку, не затаилась там, трепеща от ужаса. И тогда ее придется выковыривать ударами, криком, выкуривать из норы, как затравленного зверька.

– Дорогой, Гафар, твой брат Дарвеш признался, что вы оба на днях встречаете караван на краю пустыни. Дальше ведете его на север, в Калахисам и Хурмалик. Там передаете груз другим проводникам, которые доставят его в Герат.

– Господин, мой брат Дарвеш не мог такое сказать. Ему нельзя отлучаться из дома. Наша мать живет у Дарвеша, она очень больна и может вот-вот умереть. Дарвеш не может уехать из дома и оставить мать умирать. И я не могу уехать из дома. Мы оба хотим быть рядом с матерью, когда она станет умирать.

– Ты, собака, умрешь раньше матери! – майор Конь схватил афганца за горло под ключевой бородой, стал сжимать, так что глаза пленника полезли из орбит, а на лбу, от переносицы, уходя под красную шапочку, вздулась жила. – Придушу тебя, как собаку! Выкину тебя на помойку, и пусть грифы обклеивают твоё вонючее тело! Когда пойдет караван? По каким тропам, собака?

– Аллах свидетель, не знаю! – хрипел афганец, и из его распухших губ вываливался синий язык.

– Хорошо, – сказал майор Конь, отпуская хрипящее горло. – Ты клянешься Аллахом. И при этом врешь. Сейчас посмотрим, как ты любишь Аллаха, какой ты правоверный и как ты готов выполнять заветы пророка!

Он полез в ящик стола. Извлек пухлую, в кожаном переплете книгу – Коран, найденный им в разоренной мечети, куда угодил снаряд. Суздальцев помнил, как майор Конь ходил по ломким голубым изразцам, приказывал солдатам собрать лазурные осколки, чтобы выложить ими стенки бассейна. Теперь рядом с баней переливался лазурью бассейн, куда громко падало распаренное могучее тело майора.

– Смотри, – майор выложил книгу на стол, раскрывая ее на первых страницах. Суздальцев видел арабскую вязь, раскрашенные, из цветов и листьев, узоры, толстые, замусоленные прикосновением пальцев страницы. Прочитал слова второй Суры: «Во имя Аллаха Всемилоостивого и Милосердного! Алеф-Лям – Мим. Эта книга, несомненно, наставление для тех, Кто страшится гнева Бога».

Афганец смотрел на лежащую книгу, в которой, словно легкие струйки дыма, извивались арабские строчки, и в этих прозрачных летучих дымках звучало Божественное Слово.

– В этой книге живет Аллах. Ты клянешься его именем. Я буду рвать эту книгу, совершая грех, который невозможно простить. Но книгу эту буду рвать не я, а ты, своей ложью, своей лживой клятвой. Своим лживым языком, своими грязными руками ты будешь разрывать священную книгу, в которой обитает Аллах!

Суздальцев видел, как ужаснулся афганец. Как остановилась в нем жизнь, пойманная в страшную западню, из которой не было выхода. Пытка, которая ему предстояла, была страшнее побоев, смертельней электрического тока, невыносимей зрелища убитых детей. Его заставляли осквернить сияющую Бесконечность, безбрежную Доброту, всевышнюю Любовь. Принуждали попать божественную силу, которая сотворила Вселенную, породила звезды и землю, ледники и пустыни. Этой силой сберегались родные кишлаки и мечети, могилы предков и кричащие в колыбелях дети. Ему предлагали осквернить Божество, к которому он обращался с детства,

опускаясь на молитвенный коврик. К которому зывали святые пророки, припадали жившие до него соплеменники и будут припадать еще не родившиеся внуки.

– Говори! – майор ухватил страницу, сжимая ее крепкими пальцами. Суздальцев видел орнамент из розовых цветов и зеленых побегов, струйки арабской вязи, желтоватые от табака ногти майора с темными кромками грязи. – Молчишь? – майор выдрал страницу. Она издала треск живой разрываемой ткани. Суздальцеву показалось, что в пленника ударила молния, от которой у него побелели глаза. Ему рассекли пуповину, соединявшую его с бытием, и он корчился в пустоте, окруженный тьмой.

– Говори, по какой тропе пройдет караван? – Майор рванул вторую страницу, на которой Суздальцев успел прочесть: «Но для неверных все равно, Извещевал ты их, или нет. В Аллаха не уверуют они».

Казалось, пленник потерял рассудок. Боль, которую он испытывал, была не связана с мучением плоти. Кончался мир, сыпались с неба звезды, падали горы, из пустынь излетал огонь, и это он своей ложной клятвой, своим святотатством навлекал гнев Господень.

– Где пройдет караван?

Суздальцев чувствовал, что в глинобитной комнате с грязным столом, полевым телефоном, жестяным ведром у порога пульсирует страшная молния. Боль, которую исторгал афганец, казалось, плавил глинобитные стены, пластмассовый корпус телефона, грубые ботинки прапорщиков. Рука майора, готовая вырвать страницу, чудилась горящей головней, с пылающими костями и жилами. И он сам, Суздальцев, был помещен в огненный тигель, в котором испепелялась его нечистая плоть и неправедная душа.

– Где пройдет караван? – рука майора начинала выдирать третью страницу.

– Господин, я скажу! ... Скажу, господин! ... Караван пройдет мимо колодцев Зиарати и Чакул.

– Сколько верблюдов?

– Четыре.

– Когда?

– Завтра. Я должен их встретить у колодца Тагаз.

– Брат тоже должен встречать?

– Брат остается дома. Мать у нас умирает.

– Вот и хорошо, дорогой Гафар, – спокойным голосом, отпуская страницу, произнес майор. – Теперь Аллах тебя простит. А страницы мы снова подклеим. Книги надо беречь, – он бережно вложил выданные страницы в Коран, благоговейно провел по нему рукой. – Завтра тебя и брата мы возьмем в вертолет. Будем вместе встречать караван. ... Корнилов, уведи этого придурка, – по-русски приказал майор Конь.

Прапорщик приподнял за шиворот хилого афганца, толкнул к дверям.

– Ты, Петр Андреевич, пойдешь, посмотри радиоперехваты. А я еще допрошу его брата. Если врут, завтра их обоих грохну.

* * *

Суздальцев пересекал серый плац, искрящийся множеством песчинок, которые ветер приносил из пустыни. Низко, в слюдяном блеске, прошли вертолеты, бортовые номера «44» и «46», – капитан Свиристель со своим ведомым Файзулиным летели в пустыню на досмотр караванов. Двое солдат тащили на кухню мешок картошки, было видно, как из дырок мешка торчат проросшие картофельные стебли. Из хозблока, где размещалась кухня и прачечная, выглянула официантка Вероника, черноволосая, смуглая, как цыганка, с сильной, свободно плещущей грудью. Прикрыв ладонью глаза, смотрела вслед вертолетам. Была «фронтальной женой» капитана Свиристеля, сопровождала его вылеты цыганской ворожкой.

Суздальцев работал в «секретном отделе» с радиоперехватами. Над пустыней, в разных направлениях, со стороны Пакистана и Ирана, носились позывные. Переговаривались полевые командиры. Окликали друг друга уходившие на задания группы. Давали знать о себе бредущие по пустыне караваны. Все это кружилось, металось, как чайники в пиале чая. Шифры и позывные было невозможно привязать к поселениям и ведущим через пустыню дорогам. Местонахождение караванов и боевых групп оставалось невыявленным. И только особым воображением, бессознательным созерцанием Суздальцеву удавалось совместить голоса эфира с координатной сеткой пустыни. Было странное чувство, что пустыня уже пропустила сквозь себя груз «стингеров». Сквозь пески пролегли коридоры радиомолчания, по которым с выключенными рациями мог пройти караван. Это было недостоверно, имело малую вероятность, не исключало допросы пленных и облеты песков. Пустыня хранила тайну. Была запечатана для него, русского офицера разведки. На ней лежали огненные сургучные печати, над которыми, словно легкие семечки, кружили вертолеты.

Он думал о докторе Хафизе, который поставлял из Кветты драгоценную информацию. Доктор Хафиз из службы безопасности «хад» был белозубым черноусым красавцем, с которым Суздальцев встречался в Ташкенте, а потом в штаб-квартире «хада», в Кабуле. У него была странная, неудобная для разведчика примета – половина головы была седой, словно эту половину, рядом с черными, курчавыми волосами, накрывал белый парик. Говорили, что он поседел от пыток, когда находился в тюрьме Пули-Чархи, вместе с другими, арестованными Амином партийцами. Внедренный в Кветту, поставляя верблюдов для караванов с оружием, он вскрывал их маршруты, наводя вертолеты. Общаюсь с приходящими из Афганистана погонщиками, он многое знал о пакистанской агентуре, о базах оружия в кишлаках, о тайной сети, сотканной пакистанцами вокруг Кандагара. Через несколько дней, с очередным караваном, доктор Хафиз придет в Лашкаргах, и они встретятся на окраине города, на конспиративной квартире.

Вышел на солнце. Нестерпимо палило. Бесцветный жар налетал из пустыни, прожигал одежду, подошвы ботинок. Глаза тоскливо обжигались о вспышки консервных банок, о тусклый блеск брони, о радужную пленку крупнокалиберного пулемета.

Проходя мимо саманного дома, где жили комбат и его заместитель, Суздальцев увидел у ступенек привязанного варана. Животное было крупных размеров, с шершавой, как наждак, чешуей. Спина и выпуклые бока были зеленовато-розовые. Белесое брюхо переходило в желтое горло и желтый отвисший зоб. Хвост загибался. Заостренная голова приподнималась на мускулистых когтистых лапах. В голову были инкрустированы злые рубиновые глаза, окруженные желтыми веками. Пасть, похожая на заостренный клюв, улыбалась длинной улыбкой. Варан был пойман солдатами в пустыне, привезен в гарнизон и содержался, как домашнее животное. Брюхо окольцовывала проволока, прикрепленная к ступеням, как поводок. На земле валялись обглоданные кости грифа.

Суздальцев наклонился к варану. Животное недвижно, не мигая, смотрело. Казалось каменным изваянием, выточенным из материала пустыни. Загадочное божество, извлеченное из песчаных барханов, накаленных утесов, мутных перелетавших песчинок. Суздальцев заглядывал в его красноватые глаза, стараясь проникнуть в таинственное свечение. В них была все та же запечатанная тайна пустыни. Божество было древним – ровесником мира. Ведало концы и начала. Ведало о судьбах возникавших и исчезающих народов. О занесенных песками царствах. О гробницах великих и ныне позабытых вождей. Оно знало о судьбе каравана со «стингерами». Знало об исходе этой азиатской войны и о его, Суздальцева, судьбе, которая могла оборваться среди жгучих предгорий.

Ему захотелось узнать свою судьбу. Захотелось угадать, отпустят ли его эти пески, эти хребты, эти груды камней с кривыми палками, на которых ветер треплет зеленые и черные ленты.

«Скажи, – вопрошал он варана, – я выживу на этой войне?»

Божество молчало, глаза не мигали. Суздальцев чувствовал свою зависимость от сфинкса пустыни, который под одной из своих чешуек хранил знание о нем, тайну его жизни и смерти.

«Если ты меня слышишь, если наделен божественной прозорливостью, подай мне знак. Не говори о жизни и смерти. Просто подай мне знак».

Глаза рептилии дрогнули, на них упали и тот час взлетели желтые складчатые веки. Суздальцев уходил, видя длинную улыбку варана, обглоданные кости грифа.

* * *

Вечером он сидел в модуле вертолетчиков, в комнате, где жил замкомэска Леонид Свиристель. Тут же находились его друг и «ведомый» Равиль Файзулин и Вероника, «фронтальная жена» Свиристееля. Ее заботливые руки облагородили суровое жилище пилота – занавесочка на окне, салфеточка на тумбочке, штора, скрывавшая вместе с летными комбинезонами и бушлатами женские сорочки и платья. Не было по углам пустых бутылок, пепельницы с окурками, замызганных у порога ботинок. Стояла вазочка с робким цветочком пустыни, клетчатый панцирь черепахи, из которого выглядывали матерчатые лоскутки и иголка. Над кроватью висел старинный азиатский кинжал и гитара. Все разместились за столом, под рукодельным матерчатым абажуром, угощаясь шипучкой из баночек «Си-Си» и бутылок «7 UP».

– Опять, Петр Андреевич, прочесываем квадраты впустую. Хоть бы какой-нибудь занюханный верблюдик попался, какая-нибудь задрипанная «Тойота». Хоть бы по ней построчить из курсового пулемета для очистки совести, – Свиристель мотал золотистым хохолком, округлял рыжие глаза, и его молодому легкому телу было тесно на стуле, он вытягивал в разные стороны шею, был похож на птицу, готовую взлететь и выбиравшую направление полета. – Когда же у нас будет реализация разведданных?

– Может, завтра будет, – сказал Суздальцев, вспоминая красную шапочку пленного афганца, хрустящую, выдираемую из Корана страницу.

– А я вот наколдую, Леня, и не будет вам каравана, – сказала Вероника, отбрасывая с загорелого лба блестящую черную прядь. Ее темные, с голубоватыми белками глаза с обожанием смотрели на Свиристееля. Ее смуглое, цыганское лицо было исполнено нежности и счастливой преданности, и было видно, что ей нравится все в любимом человеке – его мальчишеский хохолок, нетерпеливое мигание глаз, лихая, мелькавшая в них бесшабашность. – Меньше стреляете, целее будете, мальчики. Наколдую, и никакого вам каравана.

– Знаем твоё колдовство, – хмыкнул Файзулин, коричневый от солнца, крепкий, как желудь, с блуждающими глазами, которые, казалось, все высматривают в красных песках Регистана пыльное облачко бегущей «Тойоты», бусины верблюжьего каравана. – Зайди за модуль и увидишь твоё колдовство. На клумбе камушками выложила вертолет, на нем номер «44». Поливаешь водой, чтобы он у тебя цветами расцвел. А в этой чертовой пустыне лей, не лей, все равно на клумбе одни камни останутся. Вот и всё твоё колдовство.

– Ты дурачок, Файзулин. Я цыганка, своё дело знаю. Я над водой пошепчу, заговорю её, воду, и полёту вертолет. Вот он и приходит цел, невредим. И ты, Файзулин, приходишь, хотя у тебя на лбу «46» стоит. Держись командира и будешь живой.

Вероника посмеивалась, блестя белыми зубами, подкалывала Файзулина и тут же, переводя взгляд на Свиристееля, сладко замирала. Ее красивое, с резкими чертами лицо словно выпадало из фокуса, становилось размытым, туманным от страсти и обожания. Темные брови вразлет, пунцовый рот, смуглая открытая шея, ложбинка груди, у которой обрывался загар, и начиналась пленительная белизна, – всё обращалось к любимому человеку, принадлежало ему безраздельно. Долгим, опьяненным взглядом она смотрела на Свиристееля, и когда кто-нибудь замечал этот взгляд, вздрагивала и смущенно опускала глаза.

– Ну что глядишь на меня? Волосы дыбом встают! – грубовато, насмешливо произнес Свиристель. Сделал страшное лицо, потянул себя за хохол, и тот еще больше вздыбился на макушке, превратился в золотой завиток.

Суздальцев видел эту клумбу под окнами модуля, на которой любовно смуглыми руками Вероники, был выложен из камушков вертолет. Из темных – похожий на рыбу фюзеляж. Из белых – круг винта. Из розовых – звезда и цифра «44». Он знал, что Вероника засекает клумбу добытыми в Лашкаргахе семенами цветов, старательно поливает из самодельной лейки, из пластмассовой, с продырявленными отверстиями бутылки. Иногда клумба начинала робко зеленеть, но потом солнце пустыни сжигало зелень, превращало клумбу в раскаленный противень. Ворожба Вероники напоминала детскую игру, когда дитя из черепков и стеклышек выкладывает в песочнице нехитрый рисунок или вычерчивает на морском пляже чье-нибудь лицо или имя. Это детское колдовство было тайноведением, доставшимся по наследству от забытых предков. Сотворяя образ животного с рогами, или воина с копьем, или женщины с заостренными грудями, древний прашур стремился овладеть духами – добыть на охоте зверя, победить на войне врага, привести на ложе женщину, которая родит ему потомство. Вероника, наследуя все женские суеверия и страхи, была колдуньей. Заговаривала свое счастье, сберегая суженого. Истребляла его врагов, окружая непроницаемым кругом боевой вертолет Свиристеля. Кропила «живой водой», продлевая свое бабье счастье, недолговечное на войне.

– А, правда, мальчики, вы бы меня брали перед вылетом на вертолетную площадку. Я бы ваши вертолеты водой кропила. Раньше священники перед боем солдат святой водой кропили.

– У тебя для священника ряска коротка, – засмеялся Свиристель. Потянулся к Веронике и коснулся рукой ее смуглого, выглядывающего из-под юбки колена.

Суздальцев был знаком с суеверьями войны, сам был ими опутан. Вертолетчики перед боевыми вылетами не брились, запрещали себя фотографировать. Солдаты, уходя в «зеленку» или отправляясь на засады в горы, старались оставить в казарме гильзу с заложённой в нее бумажкой, где значилось их имя и номер части. Некоторые не вскрывали до окончания операции пришедшие из дома письма. Другие наотрез отказывались играть в карты и домино. Все это были прятки со смертью, ухищрения обмануть ее и умиловить, ускользнуть от нее, притаиться, подставить вместо себя мнимый образ, вымолить себе удачу и жизнь. Смерть на войне была не только свистом пролетевшей у виска пули, сразившей соседа. Не только зрелищем горящей колонны, по которой бьют пулеметы, и из кабин вываливаются охваченные огнем водители. Не черной холодной ямой по соседству с медсанбатом, где, прикрытый досками, защищенный от солнца, лежит голый мертвец с запекшейся раной. Смерть на войне была существом, с которым был возможен диалог, допускалось общение, происходил таинственный обмен, заключались тайные договоры. Смерть была огромной, с неразличимыми чертами женщиной, чья голова упиралась в раскаленное афганское небо, ноги попирали горячие пески и синие ледники, а сквозь прозрачное тело туманились кишлаки, пестрели азиатские рынки, зеленели мечети, и неслась визгливая азиатская музыка и молитвенный вопль муэдзина.

Одним из суеверий, которым защищал себя Суздальцев и которое оставалось его личной тайной, неведомой никому другому, было чтение наизусть стиха Гумилева. Того стиха, что был записан когда-то в тетрадку его юношеской рукой. Там были такие слова: «Упаду, смертельно затоскую, Прошлое увижу наяву, Кровь ключом захлещет на сухую, Пыльную и мятую траву». Этим стихотворением Суздальцев предрекал себе смерть, говорил о ней, как о случившейся. И тем самым разочаровывал смерть, которая всегда предпочитала являться неожиданно, ударить из-за угла, захватить врасплох. Когда ее поджидали, называли по имени, подставляли ей грудь, она отворачивалась и отступала. Ждала, когда жертва забудется и не прочтает охранительную молитву.

– Святая вода, говоришь? Цыганское, говоришь, дело? – Файзулин яростно, зло набросился на Веронику. – А где же была твоя святая вода, когда Мишу Мукомолова сбили? Где

было твое «цыганское дело», когда его жаренные кости в фольгу заворачивали? Ведь ты свою клумбу и тогда поливала, только тогда на твоём вертолете стоял номер «36», бортовой номер Миши?

Вероника беззвучно ахнула, отпрянула, словно ее хотели ударить. Ее пунцовые губы побелели, глаза наполнились слезами, а черные, со стеклянным блеском волосы, казалось, утратили свой блеск. Вспышка Файзулина была обожанием, которое он испытывал к другу и командиру Свиристелю. Была ревнивой неприязнью к Веронике, которая отнимала у него друга, вторгалась в их дружбу своей женской страстью. Была больным воспоминанием о гибели товарища, у которого Вероника числилась «фронтовой женой», слишком быстро о нем забыла, перенесла свое страстное поклонение на Свиристеля.

Все молчали, будто в воздухе продолжал висеть звук удара. Первым заговорил Свиристель, словно хотел погасить свою вину перед погибшим Мукомоловым, у которого, пускай после смерти, отобрал любимую женщину. Вину перед Вероникой, которую не смог защитить от жестокого упрека Файзулина. Вину перед Файзулиным, страдавшим от попрания святынь любви и товарищества.

– Миша Мукомолов был летчик от бога. Ходили с ним на десантирование, сопровождали колонны, летали на удары в кандагарской «зеленке». У него был звериный нюх, когда искал караваны. Брал след и находил по запаху, как гончий пес. Шел на удары, как заговоренный, будто и впрямь его живой водой кропили. Десантников вытаскивал почти из могилы – весь в дырках, винты прострелены, а людей забирал с того света. Погиб не в бою, а когда возвращались домой, проводив за Кандагар колонну. Там есть чертово место, Таджикистан. Когда-то был кишлак, но его перемолотили снарядами. Сверху ни домов, ни улиц, будто белой мукой посыпано. Все оттуда ушли. Наверное, духи в норы зарылись и стерегли вертолеты. Я видел, как пошла ракета. Струйка курчавая, догнала с хвоста и ударила. Может, наша «стрела», трофейная. А, может, и «стингер», хрен ее знает. Смотрю, из «тридцать шестого» дым пошел. «Миша, горишь!» А он только успел: «Свиристель, прощай! Веронике поклон передай!» Упал в Таджикистане. Вижу, как духи из-под земли вылезают и бегут к вертолету. Я отработал «нурсами», только ошметки летят. Окружил вертолет взрывами. Забрали Мишу, весь экипаж погиб. Иду обратно, смотрю, по тракту две «бурбухайки» пылят. Я зашел и давай их долбить. «За Мишу! За Мишу! За Мишу!» Я эту трассу ракетную, этот хвостик кудрявый во сне вижу... Мы эти «стингеры» возьмем или нет, Петр Андреевич? – повернулся он к Суздальцеву.

– Завтра брать будем, – ответил Суздальцев, вовлеченный своими суеверьями, тайными страхами и предчувствиями в клубок людской ненависти, дружбы, любви.

Файзулин, весь кипящий, не находя покоя своей ревнующей, негодующей душе, продолжал говорить, перескакивая из одной боли в другую.

– Какие же все-таки есть гниды на свете! Мне один знакомый из Кандагарской бригады статеечку показал, которую из Союза привез. Там один журналистик пишет, что он, дескать, точно знает, как вертолетчики где-то под Файзабадом специально расстреляли с воздуха десантников, которые в окружение попали. Дескать, десанникам грозил плен, у них были секретные данные, и командование отдало приказ вертолетам вылететь в район боя и уничтожить десантников. Чтобы они вместе с секретами не попали в плен. Как можно такую гадость печатать в газетах? Эти сволочи тыловые пишут о нас такую гадость, когда мы жизнью рискуем, чтобы вытащить людей из-под пуль. Эти журналистики кто, враги? Дух» нас здесь из «М-16» мочат, из китайских автоматов дырявят, а эти крысы пера нас убивают с тыла. Зачем мы воюем? Не понимаю, зачем мы воюем, если там, в Москве, такими сучьими глазами на нас смотрят.

– Да, сволочей все больше, – хохолок Свиристеля завивался, как злой фонтанчик, а его круглые птичьи глаза стали рыжими, как у ястреба, – Их бы сюда, в пески Регистана. Вместе со спецназом побегать!

– Честно скажу, иногда перестаю понимать, за что воюем. За что моджахеды воюют, это мне ясно. За родину, за веру, за свои кишлаки воюют. Умирают за них. А мы за что умираем? За этих щелкоперов поганых?

– Присягу давал, воюй. Пусть политики объяснят народу, из-за чего война.

– Одно дело их сверху мочить, не видеть, как они умирают. Другое дело, смотреть вблизи. Под Муса-Калой шла операция, проческа. Наши несли потери. В зоне боевых действий захватили караван, – два погонщика, три верблюда. Стали поверять тюки, нашли пару автоматов. Командир полка приказал: «Расстрелять». Погонщиков поставили к дувалу, ни один мускул у них не дрогнул. Лица спокойные, красные, как обожженный кирпич. Балахоны, тюрбаны. Очередь дали, они молча попадали. Не боятся смерти. Считают, что сразу с поля боя в рай попадут.

– Смерти все боятся. Только один умирает, как мужик, а другой визжит, как поросенок.

– С летчиков духи с живых кожу сдирают. Я лучше застрелюсь, чем в плен. Чтобы они мою кожу сушиться на дувал не повесили.

Все замолчали, будто выдохлись в своих негодованиях и сомнениях. Остановились на чем-то, что их всех примиряло. Запрещало ссориться, ревновать, сомневаться. Это нечто было все той же молчаливой, загадочной сущностью, перед которой все они были равны. Таинственной женщиной с неразличимым лицом, чья туманная голова возносилась к солнцу, а стопы упирались в пески, разрушенные кишлаки, мусульманские кладбища с выгоревшими зелеными и черными лентами.

Суздальцев вдруг остро почувствовал, что операция, которую он проводил, близка к провалу. Противник его обыгрывает. Отвлекает внимание на ложные цели, заставляет тратить драгоценное время. Уводит, как птица, притворяясь подранком, уводит охотника от гнезда. Пока он допрашивает двух упрямых афганцев, прослушивает радиоперехваты, летает на досмотры в пустыню, «стингеры» окольными путями и неизвестными тропами движутся на север к Герату. И завтрашний день, как и прежде, не принесет результатов.

– Смерть, она любит, когда с ней шутят. Она ведь большая шутница. – Свиристель улыбался, прикрывая глаза выпуклыми дрожащими веками. – С ней поиграть можно в кошки-мышки, казаки-разбойники или в «русскую рулетку». Как раньше офицеры – забивали пулю в барабан револьвера, крутили и подставляли к виску. Повезет – не повезет. Хорошая игра, офицерская, смерти очень нравилась.

– Слава богу, у вас револьверов нет, – Вероника, пугаясь, смотрела на его дрожащие веки, под которыми что-то мерцало, переливалось, рыжее, беспощадное и шальное. – Теперь-то вам нечего к виску приставлять.

– Револьверов нет, а часы есть, – Свиристель оголил запястье, на котором блестели часы, – «сейка», в золоченом облупленном корпусе. – Можно со смертью в часы поиграть.

– Это как? – загорелся Файзулин, глядя на свои тяжелые, командирские, с фосфорным циферблатом часы. – Это как же играть-то?

– Смотри! Часы, они где? Там, где пульс, где частота сердца. – Свиристель выгибал запястье, перехваченное наборным браслетом, под которым синели вены и натягивались жилы. – Значит, часы показывают не просто время, а время твоей жизни, твое личное время, а, значит, и время твоей смерти. – Он с упоением смотрел на пульсирующий бег секундной стрелки, словно засекал мгновение собственной гибели. – В твоих часах твоя жизнь и твоя смерть. В моих – моя. У Петра Андреевича – его. У Вероники – ее. Если мы часы кинем в шапку, а потом станем вытаскивать, какие кому достанутся, то мы поменяемся жизнями, поменяемся судьбами и смертями. Например, моя смерть к тебе перейдет. Его к тебе. Ее – ко мне.

– Здорово придумано, – восхитился Файзулин. – Значит, я могу твою смерть на себя взять? Я готов.

– Глупости, – испуганно возразила Вероника, – это все равно, что смерть за ушами щеко-
тать. Она, как кошка, спит, спит, а потом как вцепится.

– Ну и ладно, – все больше загорался Файзулин. – То она нас мучает, а то мы ее помучаем. Поморочим ее.

– Так что, сыграем? – крутился на стуле Свиристель, трепеща хохолком.

– Я готов.

– А вы как, Петр Андреевич?

Суздальцев смотрел на свою «сейку», купленную в кабульском дукане. Посеребренный корпус. Хрустальное, с гранями стекло, под которым трепещет нервный живой волосок. Ему казалось, что на белом циферблате часов раскрывается тончайшая скважина. Малый темный прокол, который расширяется, превращается в щель, в провал, уводящий в иное пространство. В этот провал утекает шелковистая темная лента, а вместе с ней, струясь, утекает его жизнь. И в этом – сладость, мучительное созерцание, странное одоление смерти. Неявное господство над ней, превозмогание дурной бесконечности, в которую сливаются дни, допросы, скольжение вертолетной тени по знойным пескам. Бессмысленный фатум войны, где ему отвели predetermined роль, и теперь появлялась возможность ускользнуть из дурной бесконечности, одолеть фатум, пускай, и ценой своей жизни.

– Вы как, Петр Андреевич?

– Я согласен.

Свиристель достал из угла старую солдатскую панаму с ремешком и зелеными пуговицами. Мужчины стянули с запястий и кинули в панаму часы.

– Может, не надо, Леня? – противилась Вероника.

– Делай, что говорят!

Вероника неохотно, повинаясь приказывающему взгляду Свиристеля, взяла с тумбочки свои часики на кожаном ремешке и положила в панаму. Четыре спички разной длины соответствовали каждой определенным часам. Самая длинная – Суздальцева. Покороче – Свиристеля. Еще короче – Файзулина. И совсем короткая – Вероники. Она сложила спички вместе, сжимая пальцами, выставляя кончики. Протянула руку, предлагая мужчинам тянуть жребий. Смотрела на спички, пронзительно, остро, шевеля губами. Словно творила заговор, колдовала, вторгалась в мир темных сил, отводя эти силы от любимого человека. Что-то путала, сплетала, рвала. Отводила смерть от Свиристеля, приближала ее к себе.

Суздальцев смотрел на ее пухлые свежие губы. На дрожащие слезным блеском глаза. На приоткрытую грудь с пленительной шелковистой ложбинкой. На голую, держащую спички руку. И вдруг испытал волнение, слабое сотрясение, мгновенно устыдившись своего мужского желания.

– Тянем! – произнес Свиристель и выхватил спичку. Все сделали то же. Файзулин и Вероника получили свои часы обратно. А Суздальцев и Свиристель поменялись часами.

– Отличные часики, Петр Андреевич! – Свиристель застегивал браслет, играя граненым стеклом. – Раньше менялись нательными крестами, а мы поменялись часами. Теперь мы с вами братья, Петр Андреевич.

Суздальцев смотрел, как на доставшихся ему часах трепещет стрелка. Вдруг почувствовал в груди перебой, нарушение ритма, словно в сердце влетала и угнездилась пульсирующая спиралька.

– Ну что ж, давайте любимую Миши Мукомолова! – Свиристель снял со стены гитару. Побренчал струнами, прислушиваясь к звуку. Встрепенулся, дернул хохолком и, притоптывая ногой, округляя янтарные глаза, запел.

С первым всплеском голоса, с первым рокоchущим звоном, с поворотом плеча и каким-то особенным, изящно-небрежным скольжением руки, перебиравшей аккорды, Суздальцев почувствовал, как хлынул ему в глаза свет. Белый, с фиолетовым оттенком и нежными переливами красного. Словно зрение обрело способность различать невидимые части спектра. Кто-то осветил мир таинственным источником света, делая доступным для глаз скрытые доселе

детали. Блестевшую на щеке Вероники слезинку. Первую, серебристую седину в черных волосах Файзулина. Прицепившееся к рубашке Свиристея колючее семечко пустыни. И тот, кто озарил комнату этой белой, без теней, вспышкой, приказывал Суздальцеву: «Смотри!» Требовал, чтобы тот не закрывал глаз, стремился запечатлеть мир, озаренный немеркнущим светом.

Свиристель бурно, с рокотом пел:

*Беснуются лопасти над головой,
Дрожит рукоять управления.
Заходишь от солнца, и то, что живой,
Сверяешь с наземною тенью...*

Свиристель пел песню умершего друга. Суздальцеву казалось, что этот погибший друг был и его другом. Он любил его, восхищался его удалью и отвагой, и эта любовь излетала из самого сердца, потому что оно было одновременно и сердцем Свиристея, передавшего ему свою жизнь и судьбу.

*Пробита обшивка, пробито стекло,
Передняя стойка погнута.
Но ты приземлился, тебе повезло,
Тебе, и в пехоте кому-то...*

Суздальцев видел смуглое, восхищенное лицо Вероники. Ее темные, взлетевшие брови. Ее полный локоть, который она поставила на стол. Белую ладонь, на которую положила подбородок. Вырез платья еще больше распахнулся, и ему вдруг захотелось прижаться губами к тому месту на ее груди, где кончался золотистый загар, и начиналась таинственная жемчужная впадинка. Его желание не казалось постыдным. Оно не было вероломством по отношению к Свиристелю. Леонид переселился в него, наделил его своей страстью, своим мужским нетерпением. Когда кончится песня, и все покинут эту тесную комнату, в ней останутся Суздальцев и Вероника. Задернет на окне занавеску, погасит свет, поднимет вверх руки. Раздастся шелест платья, замерцают легкий разряд электричества, забелеет ее близкое тело.

Свиристель яростно крутил хохолком, блестел зубами, рвался вслед за песней, словно стремился освободиться от мешающей плоти, превратиться в рокот, блеск, звон:

*Он ранен, тебя посылали к нему.
Ты сел под обстрелом на скалы.
Железная птица в сигнальном дыму
С гранитным слилась пьедесталом...*

Казалось, глаза Суздальцева обладают ясновидением. Он видел бой, в котором никогда не участвовал. Видел тень вертолета, скользящую по осенним виноградникам, по разрушенному кишлаку, по гончарным башням виноградных сушен. Видел, как хлещет с земли пульсирующий огонь ДШК, красные струи пронзают стеклянный круг лопастей. Из кудрявых, похожих на арабскую вязь виноградников вылетает курчавая струйка дыма. Затеяливо вьется, преследуя вертолет. Находит его и вонзается, превращаясь в красный шар взрыва. Он бежит, цепляясь за обрезки колючих лоз, и где-то рядом, упавший в «зеленку», невидимый, чадит вертолет.

*Погрузка закончена, двинут «шаг-газ»,
С трудом отрываешь машину.
Ты в небе, ты выжил, и ты его спас,*

Бойца с безымянной вершины...

Пространство, отделявшее его от Свиристея, волновалось, словно расплавленное стекло. В нем извивались прозрачные струи, переливались слои, будто таинственный стеклодув выдувал загадочный сосуд, наполняя его дыханием. В этот сосуд уловлена комната, медового цвета гитара, размытые, дрожащие от ударов струны. Уловлены черепаший панцирь, баночки с шипучкой «Си-Си». Уловлены Свиристель, Файзулин, Вероника и он, Суздальцев. Между ними происходит обмен голосами, взглядами, выражением лиц. Словно смешиваются в колдовском растворе их судьбы, души, превращаясь в единую душу, в единую судьбу, в единую сущность, в которую стеклодув вдует неизреченное слово.

*Набрал высоту, оглянулся в отсек.
Борттехник кивнул: «Все в порядке».
Лети, вертолетчик, живи человек.
Счастливой, ребята, посадки...*

Из сердца Суздальцева исходила невесомая, бесплотная сила, плыла в прозрачном кружении, достигала Свиристея. Погружалась в него, и тот обретал тождество с Суздальцевым. Это он, Свиристель, шел когда-то с девушкой по осенней просеке, и на тропке лежали красные листья, и в каждом была холодная синяя капля, отражавшая небо. Это он, Свиристель, свернулся калачиком в удобной качалке, слыша, как в соседней комнате тихо смеются мама и бабушка. Это он детской рукой писал в тетрадку сладкий и мучительный стих: «Пуля, им отлитая, просвищет Над седою вспененной Двиной. Пуля, им отлитая, отыщет Грудь мою, она пришла за мной».

*Берешь на себя, все берешь на себя.
За все отвечаешь исходы.
Железная птица, покорно трубя,
Летит посреди небосвода.*

Он почувствовал, как в недрах таинственного сосуда его душа встретилась с душой Свиристея. И там, где произошла встреча, возникла вспышка, словно перегорела спираль в огромной осветительной лампе. Свет померк. Он пережил помрачение, потерю памяти, моментальное подобие смерти.

Пришел в себя, когда Свиристель вешал на стену гитару. Файзулин пил из баночки газировку. Вероника с обожанием смотрела на любимого человека.

– Пора расходиться, – сказал Суздальцев, вставая. – Завтра много работы.

Он шел в темноте по хрустящему плацу. Думал, что где-то рядом смотрит на туманные звезды пленный варан.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Утреннее солнце начинало жечь вертолетную площадку. Два пятнистых вертолета казались ящерицами на солнцепеке. Замкомэска Свиристель смотрел, как загружают «цинки» с патронами в его машину с номером «44», показывал карту второму пилоту и борттехнику, и те водили по карте пальцами, о чем-то переспрашивали командира. У соседней машины с номером «46» расхаживал Файзулин, хлопал ладонью по барабану, из которого, как из гнезда, торчали клювики реактивных снарядов. Казалось, он проверяет на прочность барабан, подвеску, пятнистый фюзеляж с красной звездой, на которой, едва заметная, виднелась заплатка – след попадания. Перед вертолетом стояла группа спецназа – полтора десятка солдат в панاماх, с автоматами, в «лифчиках» с «рожками», гранатами, с ранцевой рацией, над которой раскачивался хлыстик антенны. У троих были гранатометы, из-за спин веером торчали остроконечные заряды. У одного миноискатель. У всех были фляги с водой. Перед строем расхаживал командир группы, длинноногий, худой, в спортивных штанах и куртке, в стоптанных кроссовках, похожий не на офицера спецназа, а на спортивного тренера. И только притороченный к поясу десантный нож, короткоствольный автомат и набитый снаряжением «лифчик» выдавали в нем опытного разведчика, предпочитающего тяжелым ботинкам удобные кроссовки, в которых сподручнее мчаться по горячим барханам, уклоняясь от очередей неприятеля. Он делал последние наставления группе, в которых мало говорилось о поставленной задаче, а присутствовали скупые, ободряющие слова. Своеобразная смесь ритуального заклинания и предполетной молитвы, которая должна была уберечь группу от превратностей полета, сплотить солдат и командира в семью, где каждый бережет жизнь соседа, словно тот является ему близким родственником.

Все это видел Суздальцев со стороны, придерживая у плеча брезентовый ремень автомата, чувствуя на бедре холод фляги, еще не нагретой жаром пустыни. Он слабо надеялся на успех операции, которая повторяла предшествующие. По наводкам агентов, по сбивчивым показаниям пленных вертолеты отправлялись в квадрат пустыни, где ожидалось появление «стингеров». Борт «44», облегченный, без спецназа, шел впереди, монотонно облетая красные, марсианского цвета, барханы. Ему сопутствовал борт «46». В случае обнаружения цели головная машина делала очередь из курсового пулемета, принуждая караван остановиться. Начиная снижаться, совершая над караваном круги. Вторая машина приземлялась в песках, недоступная для ударов гранатомета. Спецназ выскакивал и бежал на досмотр, в то время как первая машина барражировала, описывая круги, прикрывая группу всей мощностью своих ракет и реактивных снарядов.

Это был полет, один из последних, после которого можно было считать, что «стингеры» благополучно миновали пустыню, просочились на север малыми порциями и теперь продвигаются в районы Шинданта и Герата.

Из ворот гарнизона показался майор Конь, тяжелый, лысый, в развалку, с расстегнутым воротом, из которого поднималась играющая жилами шея. На плече, стволом вниз, висел автомат. Глаза сердито шурились на солнце, на сухое мерцанье свалки, у которой на запах свежих объедков уже опустилось несколько грифов. Он шагал, и от его ботинок клубилось солнечное облачко пыли. Следом, один за другим шли пленные афганцы, два брата, Гафар и Дарвеш. Руки связаны за спиной. Хламида, истерзанная во время допросов, несвежего, грязно-белого цвета. Малиновая шапочка на голове Гафара, резиновые калоши на босу ногу, неопрятная борода, в которой по-рыбьи раскрывался глотавший воздух рот. Его брат Дарвеш был крупнее, шире в плечах. У него была черная, с металлическим отливом борода, затравленные злые глаза, над которыми срослись иссиня-черные брови. На лоб съехала рыхлая чалма. Из-под его сандалий взлетала пыль, и он ступал за братом, что-то торопливо говорил ему на ходу. За ними вышаги-

вали два здоровенных прапорщика, принимавшие участие в допросах. Сонные, недовольные, с тусклыми лицами, они вяло понукали афганцев.

– Ну что, Петр Андреевич, поищем иголочку в стоге сена, – произнес Конь, пожимая Суздальцеву руку. – А ты, Гафар, дух пустыни, смотри. Не найдем караван, я тебя пристрелю, клянусь Аллахом, – обратился он к афганцу, который мелко затряс головой, прислонился к груди Дарवेशа, и тот приподнял плечо, чтобы голове брата было удобнее на его широкой груди.

Спецназ, позвякивая оружием, нырял в глубину вертолета. Под тяжестью солдат поскрипывала металлическая лестница. В полутемном проеме исчезали панамы, автоматы, гранатометы. Командир группы, пружиня на кроссовках, взглядом пересчитывая солдат, заскочил последним.

– Ну, давайте, мусульмане, – Конь подтолкнул к вертолету Гафара. Тот топтался. На связанных руках мучительно шевелились пальцы. Боялся ступить на лестницу и потерять равновесие. Конь грубо и сильно подсадил его. Толкнул в глубину машины. Тот зацепился за порог, и с его ноги соскочила калоша, упала на землю, черная, с малиновым зевом. То же самое Конь проделал с Дарвешем, и афганец, уже из машины, оглянулся на майора черными пылающими глазами.

Суздальцев сел на лавку у иллюминатора, глядя на одинаковые панамы солдат, на пленников в голубоватых хламидах, на пулеметчика, угнездившегося в хвосте вертолета, на майора, который оглаживал лысину большой, с рыжими волосками ладонью, на прапорщиков, оставшихся на солнцепеке. Экипаж заскочил внутрь, захлопнул дверь. Файзулин в кабине нажимал тумблеры, запуская винты. Заурчало, засвистело. Вертолет колыхнулся, повис, его понесло вверх, в сторону, вслед за головной машиной с номером «44». Внизу промерцала свалка. Шарахнулся в сторону гриф, растопырив маховые перья. Косо прошла саманная изгородь гарнизона, врытая в землю БМП, здание штаба с флагом. Суздальцев, прижимаясь к стеклу, разглядел Веронику, ее запрокинутое в небо лицо, взмах руки над стеклянным сосудом, россыпь солнечных капель. И случайная больная мысль – там, на земле, осталась лежать черная, с малиновой подкладкой калоша, отбрасывая крохотную остроносую тень.

Вертолетная пара шла над пепельной степью, которую исцарапали дороги, от одного убогого кишлака к другому. Виднелись пыльные клубочки овец, среди которых белело пятнышко пастуха. Дороги пропали, и потянулась фиолетовая от жара долина, словно ее опалили огромной паяльной лампой. Сквозь сухую золу местами проступали черные камни, морщинистые скалы. Они были похожи на изглоданные зубы, торчащие из серой челюсти. Появились невысокие горы с наплывами породы, напоминавшие воротники. Словно здесь выдавливалась лава, текла, застывая темными языками, образуя каменные, уложенные друг на друга ковриги. Впереди затуманилось, появилась красноватая мгла, размытая, охватывающая горизонт полоса. Вертолеты, отбрасывая две зыбкие тени, стали медленно приближаться к пустыне.

Пустыня Регистан, красная, как Марс, тянулась к югу, до границы с Пакистаном, откуда по пескам, груженные контрабандным товаром и оружием, шли караваны. Либо верблюды – их медлительные ленивые вереницы, с тюками и переметными сумками на горбах, с чернолицыми и сухими, как стручки, погонщиками. Либо юркие непрехотливые «Тойоты», по одиночке или парами пересекавшие барханы. Мчались наугад, без дорог, оставляя на песке причудливые надрезы. Стальной грузовичок с пулеметом на крыше, емкий кузов, где лежат промасленные автоматы, ящики с минами или, заваленные верблюжьей колючкой, ракеты «стингер».

Суздальцев, поставив между ног автомат, наблюдал приближение пустыни. Это напоминало сближение с красной планетой, таинственно возникавшей в иллюминаторе. Сначала на серой земле появлялся тонкий рыжеватый полумесяц – принесенный из пустыни песок зацепился на камень, копил песчинки, старался превратиться в бархан. Но менялся ветер, и песок улетучивался, так и не сложившись в бархан. Полумесяцев становилось больше, они были выгнуты все в одну сторону. На темной земле возникало округлое, оранжевое вздутие, пес-

чаный холм, еще одинокий, окруженный каменистой землей. Первый песчаный оплот, закрепившийся на краю пустыни. Вздутый становилось все больше. Круглые, разных размеров, они напоминали пузыри, которые извергала земля. Идеальной формы купола, возведенные неведомыми строителями. Вспучивались, смыкались кромками, поглощали черную землю. Сплошное оранжевое море пузырилось внизу, источая сгустки жара, старалось лизнуть вертолет своими пламенными языками. Регистан круглился марсиански – красными барханами, и казалось, вертолет в высоте перелетает с одной раскаленной вершины на другую.

Файзулин, в шлемофоне, выглянул из кабины, встретился глазами с Суздальцевым. Сжал кулак и, окунув большой палец вниз, сделал жест, известный еще со времен Рима. Жест означал «Мочить!». Суздальцев взглянул в иллюминатор и на волнистых песках увидел след, выходящий из-за горизонта, который завершался бесформенным колючим комком и мазками сажи. Это была разбитая, месячной давности, «Тойота». Наводку на нее прислал из Кветты доктор Хафиз, и он, Суздальцев, летал на «реализацию разведданных».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.